ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ СЕДЬМОЙ

ВОЙНА И МИР

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р1
Т 53

Примечания
Л. Опульской

Оформление художника
И. Жихарева

Т $\frac{70301-288}{028(01)-74}$ Подп. изд.

ВОЙНА И МИР

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Петербурге в это время в высших кругах, с бо́льшим жаром чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому; и из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.

У Анны Павловны 26-го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического

духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие — ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.

Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом.

Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.

— On dit que la pauvre comtesse est très mal. Le médecin dit que c'est l'angine pectorale.

— L'angine? Oh, c'est une maladie terrible!

— On dit que les rivaux se sont reconciliés grâce à l'angine... [1]

Слово angine повторялось с большим удовольствием.

— Le vieux comte est touchant à ce qu'on dit. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a dit que le cas était dangereux.

— Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante.

---

[1] Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь. — Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь! — Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни.

— Vous parlez de la pauvre comtesse, — сказала, подходя, Анна Павловна. — J'ai envoyé savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, — сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. — Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m'empêche pas de l'estimer, comme elle le mérite. Elle est bien malheureuse [1], — прибавила Анна Павловна.

Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.

— Vos informations peuvent être meilleures que les miennes, — вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. — Mais je sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C'est le médecin intime de la Reine d'Espagne [2]. — И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot, говорил об австрийцах.

— Je trouve que c'est charmant! [3] — говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le héros de Pétropol [4] (как его называли в Петербурге).

— Как, как это? — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.

И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:

---

[1] Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный. — О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина. — Вы говорите про бедную графиню... Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире.

Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна.

[2] Ваши известия могут быть вернее моих... но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб-медик королевы испанской.

[3] Я нахожу, что это прелестно!

[4] героем Петрополя.

— L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, — сказал Билибин, — drapeaux amis et égarés qu'il a trouvé hors de la route [1], — докончил Билибин, распуская кожу.

— Charmant, charmant [2], — сказал князь Василий.

— C'est la route de Varsovie peut-être [3], — громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он также, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, — думал он, — а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.

— Всемилостивейший государь император! — строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. — «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа *своего*, — вдруг ударил он на слове *своего*, — яко, мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: «Осанна, благословен грядый!» — Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.

Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф...» — прошептала она.

Князь Василий продолжал:

— «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит вне-

---

[1] Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.

[2] Прелестно, прелестно.

[3] Это варшавская дорога, может быть.

запно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».

— Quelle force! Quel style! [1] — послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.

— Vous verrez [2], — сказала Анна Павловна, — что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.

II

Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.

Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.

Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же

---

[1] Какая сила! Какой слог!

[2] Вы увидите.

в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:

— Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!

— Что я вам говорил про Кутузова? — говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. — Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.

Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.

— Каково положение государя! — говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protégé Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale [1], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le médecin intime de la Reine d'Espagne [2] предписал Элен небольшие дозы какого-то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за италь-

[1] грудной ангины.
[2] лейб-медик королевы испанской.

янца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.

Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.

На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoléance [1] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.

— Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.

Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:

«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».

Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:

«Князь Михаил Илларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1-го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».

---

[1] визитов соболезнования.

III

Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по-русски, но quoique étranger, Russe de cœur et d'âme [1], как он сам говорил про себя.

Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по-русски, чувствовал себя все-таки растроганным, когда он явился перед notre très gracieux souverain [2] (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes éclairaient sa route [3].

Хотя источник chagrin [4] г-на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:

— M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel? [5]

— Bien tristes, sire, — отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, — l'abandon de Moscou [6].

— Aurait on livré mon ancienne capitale sans se battre? [7] — вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.

Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, — именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор — потерять армию и Москву, или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.

Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.

— L'ennemi est-il en ville? [8] — спросил он.

— Oui, sire, et elle est en cendres à l'heure qu'il est. Je l'ai laissée toute en flammes [9], — решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому,

---

[1] впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души.
[2] нашим всемилостивейшим повелителем. — *Ред.*
[3] пламя которой освещало его путь.
[4] горя.
[5] Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?
[6] Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы.
[7] Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?
[8] Неприятель вошел в город?
[9] Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени.

что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажились слезами.

Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.

— Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive,— сказал он, — que la providence exige de grands sacrifices de nous... Je suis prêt à me soumettre à toutes ses volontés; mais dites moi, Michaud, comment avez-vous laissé l'armée, en voyant ainsi, sans coup férir, abandonner mon ancienne capitale? N'avez-vous pas aperçu du découragement?..[1]

Увидав успокоение своего très gracieux souverain, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.

— Sire, me permettez-vous de vous parler franchement en loyal militaire?[2] — сказал он, чтобы выиграть время.

— Colonel, je l'exige toujours, — сказал государь. — Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est[3].

— Sire! — сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots[4]. — Sire! j'ai laissé toute l'armée depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte épouvantable, effrayante...[5]

— Comment ça? — строго нахмурившись, перебил государь. — Mes Russes se laisseront-ils abattre par le malheur... Jamais!..[6]

Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.

---

[1] Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что провидение требует от нас больших жертв... Я готов покориться его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?

[2] Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?

[3] Полковник, я всегда этого требую... Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.

[4] игры слов.

[5] Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе...

[6] Как так? Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей. Никогда!..

— Sire, — сказал он с почтительной игривостью выражения, — ils craignent seulement que Votre Majesté par bonté de cœur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brûlent de combattre, — говорил уполномоченный русского народа, — et de prouver à Votre Majesté par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont devoués...[1]

— Ah! — успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. — Vous me tranquillisez, colonel[2].

Государь, опустив голову, молчал несколько времени.

— Eh bien, retournez à l'armée, — сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, — et dites à nos braves, dites à tous mes bons sujets partout où vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi-même, à la tête de ma chère noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'à la dernière ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, — говорил государь, все более и более воодушевляясь. — Mais si jamais il fut écrit dans les decrets de la divine providence, — сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, — que ma dinastie dût cesser de régner sur le trône de mes ancêtres, alors, après avoir épuisé tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croître la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutôt, que de signer la honte de ma patrie et de ma chère nation, dont je sais apprécier les sacrifices!..[4] — Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть

---

[1] Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы...

[2] А! Вы меня успокоиваете, полковник.

[3] Ну, так возвращайтесь к армии.

[4] Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что, когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги... Но если бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..

от Мишо выступившие ему на глаза слезы и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.

— Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut-être qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir... Napoléon ou moi, — сказал государь, дотрогиваясь до груди. — Nous ne pouvons plus régner ensemble. J'ai appris à le connaître, il ne me trompera plus... [1] — И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо — quoique étranger, mais Russe de cœur et d'âme — почувствовал себя в эту торжественную минуту — entousiasmé par tout ce qu'il venait d'entendre [2] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.

— Sire! — сказал он. — Votre Majesté signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe! [3]

Государь наклонением головы отпустил Мишо.

IV

В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из

---

[1] Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь; может быть, мы когда-нибудь вспомним об этом с удовольствием... Наполеон или я... Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет...

[2] хотя иностранец, но русский в глубине души... восхищенным всем тем, что он услышал.

[3] Государь! Ваше величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы!

прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени.

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.

Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке-маркитантше и тому подобное...

Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем поло-

жении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.

По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.

За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.

Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, — это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.

В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто-начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.

Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.

От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в ко-

торых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.

— Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, — сказал губернатор, отпуская его.

Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.

Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист-холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.

Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.

Переодевшись, надушившись и облив голову холодной водой, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais[1], явился к губернатору.

Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по-бальному.

Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая-то особенная размашистость — море по колено, трын-трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.

---

[1] лучше поздно, чем никогда.

Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.

Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец — офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его — русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержанностью.

Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца-повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».

Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [1], такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем-нибудь

[1] дурным тоном.

необыкновенным, чем-нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.

Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся — то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.

V

Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.

Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.

— Какую же?

— Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот — кораллы, белизна... — он глядел на плечи, — стан — Дианы...

Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.

— А! Никита Иваныч, — сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.

Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.

— Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, — сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. — Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?

— О да, ma tante. Кто же это?

— Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее... Угадаешь?..

— Мало ли я их там спасал! — сказал Николай.

— Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..

— И не думал, полноте, ma tante.

— Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!

Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.

— Очень рада, мой милый, — сказала она, протянув ему руку. — Милости прошу ко мне.

Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.

Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.

Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.

— Знаешь, mon cher, — сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, — вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?

— Кого, ma tante? — спросил Николай.

— Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по-моему, нет, — княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.

— Совсем нет, — как бы обидевшись, сказал Николай. — Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, — сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.

— Так помни же: это не шутка.

— Какая шутка!

— Да, да, — как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. — А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous êtes trop assidu auprès de l'autre, la blonde[1]. Муж уж жалок, право...

— Ах нет, мы с ним друзья, — в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого-нибудь не весело.

«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! — вдруг за ужином вспомнилось Николаю. — Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», — он отвел ее в сторону:

— Но вот что, по правде вам сказать, ma tante...

— Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.

Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.

— Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из-за денег.

— О да, понимаю, — сказала губернаторша.

— Но княжна Болконская, это другое дело; во-первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по

---

[1] мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.

сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило, что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как-то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом все... Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.

Губернаторша пожала его благодарно за локоть.

— Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней... Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, — нескладно и краснея говорил Николай.

— Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папà очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены... Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.

Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.

— Все-таки, ma tante, этого не может быть, — со вздохом сказал он, помолчав немного. — Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?

— Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a manière et manière [1], — сказала губернаторша.

— Какая вы сваха, ma tante... — сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.

VI

Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника — все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и

---

[1] На все есть манера.

после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат — единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.

Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, — княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.

В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плёрёзы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с

ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.

Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки и глаза осветились новым, лучистым светом.

— Вы его видели, тетушка? — сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.

Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M-lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.

«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное — этот такт и грация!» — думала m-lle Bourienne.

Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m-lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование — все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.

Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.

Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.

Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.

Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.

Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все-таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.

Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.

Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда-то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что-то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.

После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда-то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.

VII

Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных

сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).

Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как-то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.

Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.

— Ты видел княжну? — сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.

Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из-под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.

Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.

— Я одно хотел вам сказать, княжна, — сказал Ростов, — это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.

Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.

— И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, — говорил Николай. — Надо надеяться на лучшее, и я уверен...

Княжна Марья перебила его.

— О, это было бы так ужа... — начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.

Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда-нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.

Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что, уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное — эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.

«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! — говорил он сам с собою. — Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.

Мечтания о Соне имели в себе что-то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.

«Как она молилась! — вспомнил он. — Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? — вспомнил он. — Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, — вспомнил он слова губернаторши, — кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman... дела... путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! — начал он вдруг молиться. — Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», — сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими-то бумагами.

— Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! — сказал Николай, быстро переменяя положение.

— От губернатора, — заспанным голосом сказал Лаврушка, — кульер приехал, письмо вам.

— Ну, хорошо, спасибо, ступай!

Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть несколько строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.

— Нет, это не может быть! — проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его, стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что-то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.

Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время — все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.

«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, — писала она, — и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что, несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».

Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.

С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.

На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.

VIII

Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.

Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.

— Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.

Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была

состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все-таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.

Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.

В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.

В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из-за двери слушала звуки

их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.

— Наташа, что ты? Поди сюда, — сказала графиня.

Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.

Тотчас после ухода настоятеля Наташа взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.

— Соня, да? он будет жив? — сказала она. — Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, — все по-старому. Только бы он был жив. Он не может... потому что, потому... что... — И Наташа расплакалась.

— Так! Я знала это! Слава богу, — проговорила Соня. — Он будет жив!

Соня была взволнована не меньше своей подруги — и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» — думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.

Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.

— Ах, Наташа! — вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.

— Что? что? — спросила Наташа.

— Это то, то, вот... — сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.

Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.

— Помнишь ты, — с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, — помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела... В Отрадном, на святках... Помнишь, что я видела?..

— Да, да! — широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что-то о князе Андрее, которого она видела лежащим.

— Помнишь? — продолжала Соня. — Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, — говорила она, при каждой подробности

делая жест рукою с поднятым пальцем, — и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, — говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она *видела* тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем-то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.

— Да, да, именно розовым, — сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.

— Но что же это значит? — задумчиво сказала Наташа.

— Ах, я не знаю, как все это необычайно! — сказала Соня, хватаясь за голову.

Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.

В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.

— Соня, — сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. — Соня, ты не напишешь Николеньке? — сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.

Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.

— Я напишу, maman, — сказала она.

Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобнов-

ления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.

IX

На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.

Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула — для офицеров и солдат — он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем-то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что-нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно-задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.

Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по-французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.

На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой-то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и дру-

гие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.

Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauvé des flammes [1].— Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что... Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.

— Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, — строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.

---

[1] которого он спас из пламени. — *Ред.*

На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.

Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.

В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.

Эти первые дни, до 8-го сентября, — дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.

X

8-го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom[1]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое-где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи

[1] тот, который не говорит своего имени.

весело блестел купол Ново-Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.

Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого-то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда-то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.

Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.

Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.

Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз видимо справлялся с какой-то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:

— Qui êtes vous? [1]

Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что-нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.

— Я знаю этого человека, — мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спипе Пьера, охватил его голову, как тисками.

— Mon général, vous ne pouvez pas me connaître, je ne vous ai jamais vu...

— C'est un espion russe [2], — перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.

— Non, Monseigneur, — сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. — Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaître. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitté Moscou.

— Votre nom? — повторил Даву.

— Besouhof.

— Qu'est-ce qui me prouvera que vous ne mentez pas?

— Monseigneur! [3] — вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

---

[1] Кто вы такой?

[2] Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас. — Это русский шпион.

[3] — Нет, ваше высочество... Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. — Ваше имя? — Безухов. — Кто мне докажет, что вы не лжете? — Ваше высочество!

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.

— Comment me prouverez vous la vérité de ce que vous me dites? [1] — сказал Даву холодно.

Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.

— Vous n'êtes pas ce que vous dites [2], — опять сказал Даву.

Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.

Но в это время вошел адъютант и что-то доложил Даву.

Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.

Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести — Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.

Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что-то.

— Oui, sans doute! [3] — сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.

Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера.

---

[1] Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?

[2] Вы не то, что вы говорите.

[3] Да, разумеется!

Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его — Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой-то убивал его — Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.

XI

От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.

Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него — желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.

Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый,

с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.

Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять — по одному или по два? «По два», — холодно-спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, — и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.

Чиновник-француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников и прочел по-русски и по-французски приговор.

Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.

Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из-за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.

Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью-то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что-то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.

На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто же это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» — на секунду блеснуло в душе Пьера.

— Tirailleurs du 86-me, en avant! [1] — прокричал кто-то, повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, — одного. Пьер не понял то́го, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.

Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.

Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.

Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер

---

[1] Стрелки 86-го, вперед!

подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.

Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво-бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.

— Ça leur apprendra à incendier [1], — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.

---

[1] Это их научит поджигать.

XII

После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.

Перед вечером караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.

С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, — сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти.

Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.

— И вот, братцы мои... тот самый принц, *который* (с особенным ударением на слове который)... — говорил чей-то голос в противуположном углу балагана.

Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

Рядом с ним сидел, согнувшись, какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что-то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.

Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.

— А много вы нужды увидали, барин? А? — сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

— Э, соколик, не тужи, — сказал он с той нежно-певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. — Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так-то,

милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, — сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то.

— Ишь, шельма, пришла! — услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. — Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. — И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что-то завернуто в тряпке.

— Вот, покушайте, барин, — сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. — В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!

Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

— Что ж, так-то? — улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. — А ты вот как. — Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

— Картошки важнеющие, — повторил он. — Ты покушай вот так-то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

— Нет, мне все ничего, — сказал Пьер, — но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

— Тц, тц... — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то... — быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: — Что ж это, барин, вы так в Москве-то остались?

— Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, — сказал Пьер.

— Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?

— Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.

— Где суд, там и неправда, — вставил маленький человек.

— А ты давно здесь? — спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

— Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

— Ты кто же, солдат?

— Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

— Что ж, тебе скучно здесь? — спросил Пьер.

— Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, — прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. — Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так-то старички говаривали, — прибавил он быстро.

— Как, как это ты сказал? — спросил Пьер.

— Я-то? — спросил Каратаев. — Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, — сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: — Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? — спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

— Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! — сказал он. — Ну, а детки есть? — продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: — Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить...

— Да теперь все равно, — невольно сказал Пьер.

— Эх, милый человек ты, — возразил Платон. — От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. — Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. — Так-то, друг мой любезный, жил я еще дома, — начал он. — Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам-сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось... — И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. — Что ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам-пят ребят, — а у меня, гляди, одна солдатка

осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу — лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец не укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех — веришь — поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так-то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. Так-то. — И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

— Что ж, я чай, спать хочешь? — сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

— Господи, Иисус Христос, Никола-угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола-угодник! Фрора и Лавра, господи Иисус Христос — помилуй и спаси нас! — заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. — Вот так-то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, — проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

— Какую это ты молитву читал? — спросил Пьер.

— Ась? — проговорил Платон (он уже было заснул). — Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?

— Нет, и я молюсь, — сказал Пьер. — Но что ты говорил: Фрора и Лавра.

— А как же, — быстро отвечал Платон, — лошадиный праздник. И скота жалеть надо, — сказал Каратаев. — Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, — сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.

XIII

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег — свернулся, встал — встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек,

варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское, и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.

— Солдат в отпуску — рубаха из порток, — говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку,

любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, — так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

XIV

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы

привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла это или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.

В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m-lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.

Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.

Во время этого трудного путешествия m-lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.

В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, — хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, — убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней — осторожные, нежные и любовные — не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу-любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она

любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.

Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей бо́льшую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.

Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.

Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна.

— Все узнал, ваше сиятельство: ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой, — сказал гайдук.

Княжна Марья испуганно-вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: что брат? M-lle Bourienne сделала этот вопрос за княжну Марью.

— Что князь? — спросила она.

— Их сиятельство с ними в том же доме стоят.

«Стало быть, он жив», — подумала княжна и тихо спросила: что он?

— Люди сказывали, все в том же положении.

Что значило «все в том же положении», княжна не стала спрашивать и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где-то. Загремели откидываемые подножки.

Отворились дверцы. Слева была вода — река большая, справа было крыльцо; на крыльце были люди, прислуга и какая-то румяная, с большой черной косой, девушка, которая неприятно-притворно улыбалась, как показалось княжне Марье (это была Соня). Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала: — Сюда, сюда! — и княжна очутилась в передней перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее.

— Mon enfant! — проговорила она, — je vous aime et vous connais depuis longtemps [1].

Несмотря на все свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня и что надо было ей сказать что-нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие-то учтивые французские слова, в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила: что он?

— Доктор говорит, что нет опасности, — сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам.

— Где он? Можно его видеть, можно? — спросила княжна.

— Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. Это его сын? — сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с Десалем. — Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!

Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с m-lle Bourienne. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, он, видимо, потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни.

Несмотря на то волнение, в котором она находилась, несмотря на одно желание поскорее увидать брата и на

[1] Дитя мое! я вас люблю и знаю давно.

досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется — увидать его, — ее занимают и притворно хвалят ее племянника, княжна замечала все, что делалось вокруг нее, и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку, в который она вступала. Она знала, что все это необходимо, и ей было это трудно, но она не досадовала на них.

— Это моя племянница, — сказал граф, представляя Соню, — вы не знаете ее, княжна?

Княжна повернулась к ней и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело оттого, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе.

— Где он? — спросила она еще раз, обращаясь ко всем.

— Он внизу, Наташа с ним, — отвечала Соня, краснея. — Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна?

У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях послышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу, ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей.

Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече.

Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.

На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение — выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желания отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи.

Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече.

— Пойдемте, пойдемте к нему, Мари, — проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.

Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

— Что... — начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже.

Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении — сказать или не сказать все то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла все.

Но она все-таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:

— Но как его рана? Вообще в каком он положении?

— Вы, вы... увидите, — только могла сказать Наташа.

Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.

— Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда *это* случилось? — спрашивала княжна Марья.

Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного — антонова огня. Но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.), и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна.

— Но два дня тому назад, — начала Наташа, — вдруг *это* сделалось... — Она удержала рыданье. — Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.

— Ослабел? похудел?.. — спрашивала княжна.

— Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить... потому что...

XV

Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыданья. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его.

Княжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами: *с ним случилось это два дня тому назад.* Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но, рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом.

Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно-белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.

Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой.

«Да в чем же я виновата?» — спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» — отвечал его холодный, строгий взгляд.

В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

Он поцеловался с сестрой рука в руку, по их привычке.

— Здравствуй, Мари, как это ты добралась? — сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком,

то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

— И Николушку привезла? — сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминанья.

— Как твое здоровье теперь? — говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.

— Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, — сказал он, и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил): — Merci, chère amie, d'être venue [1].

Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом — холодном, почти враждебном взгляде — чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.

— Да, вот как странно судьба свела нас! — сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. — Она все ходит за мной.

Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно-оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что-то другое, важнейшее, было открыто ему.

Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно.

— Мари проехала через Рязань, — сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.

---

[1] Спасибо, милый друг, что приехала.

— Ну что же? — сказал он.

— Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы...

Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все-таки не мог.

— Да, сгорела, говорят, — сказал он. — Это очень жалко, — и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.

— А ты встретилась с графом Николаем, Мари? — сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. — Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась, — продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. — Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо... чтобы вы женились, — прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого.

— Что обо мне говорить! — сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.

— André, ты хоч... — вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, — ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе.

Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства.

— Да, я очень рад Николушке. Он здоров?

Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.

Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.

Он пристально посмотрел на нее.

— Ты об Николушке? — сказал он.

Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.

— Мари, ты знаешь Еван... — но он вдруг замолчал.

— Что ты говоришь?

— Ничего. Не надо плакать здесь, — сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.

Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.

«Да, им это должно казаться жалко! — подумал он. — А как это просто!»

«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», — сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они — *не нужны*. Мы не можем понимать друг друга». — И он замолчал.

Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.

С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.

Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не го-

ворила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.

XVI

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытывал, — почти понятное и ощущаемое.

. . . .

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: *это сделалось с ним,* случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье — клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю

грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье.

В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть? — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. — Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

— А я? — Она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

— Как бы хорошо! — И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие.

— Однако вы не спали, — сказала она, подавляя свою радость. — Постарайтесь заснуть... пожалуйста.

Он выпустил, пожав ее, ее руку, она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она огля-

нулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь? — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они сбираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит *все*. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *оно*. Но в то же время как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то не человеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вошло, и оно есть *смерть*. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.

Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.

С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно-медленном, пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между

собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.

Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Его исповедовали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся, не потому, чтобы ему было тяжело или жалко (княжна Марья и Наташа понимали это), но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали; но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать.

Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.

— Кончилось?! — сказала княжна Марья, после того как тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем.

«Куда он ушел? Где он теперь?..»

Когда одетое, обмытое тело лежало в гробу на столе, все подходили к нему прощаться, и все плакали.

Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня и Соня плакали от жалости к Наташе и о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг.

Наташа и княжна Марья плакали тоже теперь, но они плакали не от своего личного горя; они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнувши в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия людей) самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте, — исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, все равно понимать значение исторического события так или иначе. Но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на Восток, потому что Наполеон захотел этого, и человеком, который говорит, что это совершилось, потому что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что земля стоит твердо и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают, на чем держится земля, но знают, что есть законы, управляющие движением и ее, и других планет. Причин исторического события — нет

и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскиванья причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможным только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли.

После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю — так называемый фланговый марш за Красной Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот *фланговый* марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого-нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившее Наполеона, — весьма трудно понять. Во-первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии (когда ее не атакуют) находиться там, где больше продовольствия, — не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии, после отступления от Москвы, было на Калужской дороге. Итак, нельзя понять, во-первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что-то глубокомысленное в этом маневре. Во-вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиною.

Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие-нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красной Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.

В-третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.

На совете в Филях у русского начальства преобладающею мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим провиантскою частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях и что в случае отступления на Нижний запасы провианта будут отделены от армии большою рекою Окой, через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы

о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.

II

Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая все прямо назад по обратному направлению наступления, после того как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия.

Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее.

Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился в то время, как получил письмо государя.

Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании и в Бородинском сражении, шар русского войска, при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно.

Заслуга Кутузова не состояла в каком-нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он один — тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть вызываем к наступлению, — он один все силы свои употреблял на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений.

Подбитый зверь под Бородиным лежал там где-то, где его оставил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя.

Стон этого раненого зверя, французской армии, обличивший ее погибель, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.

Наполеон с своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ему пришло в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла. Он писал:

«Monsieur le prince Koutouzov, — писал он, — j'envoie près de vous un de mes aides de camps généraux pour vous entretenir de plusieurs objets intéressants. Je désire que Votre Altesse ajoute foi à ce qu'il lui dira, *surtout lorsqu'il exprimera les sentiments d'estime et de particulière considération que j'ai depuis longtemps pour sa personne*... Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, Monsieur le prince Koutouzov, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde,

Moscou, le 3 Octobre, 1812. Signé:

Napoléon»[1].

---

[1] Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу Вашу Светлость верить всему, что он вам скажет, *особенно когда станет выражать вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени.* Засим молю бога о сохранении вас под своим священным кровом. Москва, 3 октября, 1812. *Наполеон.*

«Je serais maudit par la postérité si l'on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. *Tel est l'esprit actuel de ma nation»* [1], — отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления.

В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающие в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор, пока французы были в Москве, и (главное) неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.

---

[1] Я бы был проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки: *такова воля нашего народа.*

III

Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.

Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что-нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.

В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Бенигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.

«Князь Михаил Иларионович! — писал государь от 2-го октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. — С 2-го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20-го; и в течение всего сего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для

армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10 000-й корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25-е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностию и деятельностию, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».

Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано.

2-го октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата,

стоящий без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказывал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру.

Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего, для того чтобы сделано было наступление.

— Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, — отвечал Бенигсен.

Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведения казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, — благословил совершившийся факт.

IV

Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5-е октября.

4-го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.

— Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, — сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустерлицкой диспозиции, было написано, хотя и не по-немецки:

«Die erste Colonne marschiert[1] туда-то и туда-то, die zweite Colonne marschiert[2] туда-то и туда-то» и т. д. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.

Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.

— Уехали, — отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.

— Нет, и генерала нет.

Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.

— Нет, уехали.

«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» — думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда-то, кто говорил, что он, верно, опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что, должно быть, и Ермолов там.

— Да где же это?

— А вон, в Ечкине, — сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом.

— Да как же там, за цепью?

— Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.

Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни.

«Во-олузя-а-ах... во-олузях!..» — с присвистом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго

[1] первая колонна идет *(нем.)*.
[2] вторая колонна идет *(нем.)*.

не передав важного, порученного ему приказания. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо и в переднюю большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфетной и в передней суетились лакеи с вином и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую, заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными, оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине залы красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака.

— Ха, ха, ха! Ай да Николай Иванович! ха, ха, ха!..

Офицер чувствовал, что, входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виноват, и он хотел подождать; но один из генералов увидал его и, узнав, зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему.

— Ты думаешь, это нечаянно он уехал? — сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергардскому офицеру про Ермолова. — Это штуки, это все нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!

V

На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не начиналось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка? Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», — подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат

за кашей и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было.

— Как не бы... — начал Кутузов, но тотчас же замолчал и приказал позвать к себе старшего офицера. Вылезши из коляски, опустив голову и тяжело дыша, молча ожидая, ходил он взад и вперед. Когда явился потребованный офицер генерального штаба Эйхен, Кутузов побагровел не оттого, что этот офицер был виною ошибки, но оттого, что он был достойный предмет для выражения гнева. И, трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии был приходить, когда валялся по земле от гнева, он напустился на Эйхена, угрожая руками, крича и ругаясь площадными словами. Другой подвернувшийся, капитан Брозин, ни в чем не виноватый, потерпел ту же участь.

— Это что за каналья еще? Расстрелять мерзавцев! — хрипло кричал он, махая руками и шатаясь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел в России такой власти, как он, он поставлен в это положение — поднят на смех перед всей армией. «Напрасно так хлопотал молиться об нынешнем дне, напрасно не спал ночь и все обдумывал! — думал он о самом себе. — Когда был мальчишкой-офицером, никто бы не смел так надсмеяться надо мной... А теперь!» Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками; но скоро силы его ослабели, и он, оглядываясь, чувствуя, что он много наговорил нехорошего, сел в коляску и молча уехал назад.

Излившийся гнев уже не возвращался более, и Кутузов, слабо мигая глазами, выслушивал оправдания и слова защиты (Ермолов сам не являлся к нему до другого дня) и настояния Бенигсена, Коновницына и Толя о том, чтобы то же неудавшееся движение сделать на другой день. И Кутузов должен был опять согласиться.

VI

На другой день войска с вечера собрались в назначенных местах и ночью выступили. Была осенняя ночь с черно-лиловатыми тучами, но без дождя. Земля была

влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бренчанье артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле, полагая, что они пришли туда, куда надо было; некоторые (большинство) колонны шли целую ночь и, очевидно, зашли не туда, куда им надо было.

Граф Орлов-Денисов с казаками (самый незначительный отряд из всех других) один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней опушки леса, на тропинке из деревни Стромиловой в Дмитровское.

Перед зарею задремавшего графа Орлова разбудили. Привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтер-офицер корпуса Понятовского. Унтер-офицер этот по-польски объяснил, что он перебежал потому, что его обидели по службе, что ему давно бы пора быть офицером, что он храбрее всех и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них и что, ежели ему дадут сто человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов-Денисов посоветовался с своими товарищами. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться. Все вызывались ехать, все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал-майор Греков с двумя казачьими полками решился ехать с унтер-офицером.

— Ну помни же, — сказал граф Орлов-Денисов унтер-офицеру, отпуская его, — в случае ты соврал, я тебя велю повесить, как собаку, а правда — сто червонцев.

Унтер-офицер с решительным видом не отвечал на эти слова, сел верхом и поехал с быстро собравшимся Грековым. Они скрылись в лесу. Граф Орлов, пожимаясь от свежести начинавшего брезжить утра, взволнованный тем, что им затеяно на свою ответственность, проводив Грекова, вышел из леса и стал оглядывать неприятельский лагерь, видневшийся теперь обманчиво в свете начинавшегося утра и догоравших костров. Справа от графа Орлова-Денисова, по открытому склону, должны были показаться наши колонны. Граф Орлов глядел туда; но несмотря на то, что издалека они были бы заметны, колонн этих не было видно. Во французском лагере, как

показалось графу Орлову-Денисову, и в особенности по словам его очень зоркого адъютанта, начинали шевелиться.

— Ах, право, поздно, — сказал граф Орлов, поглядев на лагерь. Ему вдруг, как это часто бывает, после того как человека, которому мы поверим, нет больше перед глазами, ему вдруг совершенно ясно и очевидно стало, что унтер-офицер этот обманщик, что он наврал и только испортит все дело атаки отсутствием этих двух полков, которых он заведет бог знает куда. Можно ли из такой массы войск выхватить главнокомандующего?

— Право, он врет, этот шельма, — сказал граф.

— Можно воротить, — сказал один из свиты, который почувствовал так же, как и граф Орлов-Денисов, недоверие к предприятию, когда посмотрел на лагерь.

— А? Право?.. как вы думаете, или оставить? Или нет?

— Прикажете воротить?

— Воротить, воротить! — вдруг решительно сказал граф Орлов, глядя на часы, — поздно будет, совсем светло.

И адъютант поскакал лесом за Грековым. Когда Греков вернулся, граф Орлов-Денисов, взволнованный и этой отмененной попыткой, и тщетным ожиданием пехотных колонн, которые все не показывались, и близостью неприятеля (все люди его отряда испытывали то же), решил наступать.

Шепотом прокомандовал он: «Садись!» Распределились, перекрестились...

— С богом!

«Урааааа!» — зашумело по лесу, и, одна сотня за другой, как из мешка высыпаясь, полетели весело казаки с своими дротиками наперевес, через ручей к лагерю.

Один отчаянный, испуганный крик первого увидавшего казаков француза — и все, что было в лагере, неодетое, спросонков бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата, и все, что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных. Команды никто не слушал. Взято было тут же тысяча пятьсот человек пленных, тридцать восемь орудий, знамена и, что

важнее всего для казаков, лошади, седла, одеяла и различные предметы. Со всем этим надо было обойтись, прибрать к рукам пленных, пушки, поделить добычу, покричать, даже подраться между собой: всем этим занялись казаки.

Французы, не преследуемые более, стали понемногу опоминаться, собрались командами и принялись стрелять. Орлов-Денисов ожидал все колонны и не наступал дальше.

Между тем по диспозиции: «die erste Colonne marschiert» [1] и т. д., пехотные войска опоздавших колонн, которыми командовал Бенигсен и управлял Толь, выступили как следует и, как всегда бывает, пришли куда-то, но только не туда, куда им было назначено. Как и всегда бывает, люди, вышедшие весело, стали останавливаться; послышалось неудовольствие, сознание путаницы, двинулись куда-то назад. Проскакавшие адъютанты и генералы кричали, сердились, ссорились, говорили, что совсем не туда и опоздали, кого-то бранили и т. д., и наконец, все махнули рукой и пошли только с тем, чтобы идти куданибудь. «Куда-нибудь да придем!» И действительно, пришли, но не туда, а некоторые туда, но опоздали так, что пришли без всякой пользы, только для того, чтобы в них стреляли. Толь, который в этом сражении играл роль Вейротера в Аустерлицком, старательно скакал из места в место и везде находил все навыворот. Так он наскакал на корпус Багговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус этот давно уже должен был быть там, с Орловым-Денисовым. Взволнованный, огорченный неудачей и полагая, что кто-нибудь виноват в этом, Толь подскакал к корпусному командиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстрелять следует. Багговут, старый, боевой, спокойный генерал, тоже измученный всеми остановками, путаницами, противоречиями, к удивлению всех, совершенно противно своему характеру, пришел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю.

— Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать с своими солдатами умею не хуже другого, — сказал он и с одной дивизией пошел вперед.

Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело теперь, и с одной

[1] первая колонна идет *(нем.)*.

дивизией, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что нужно ему было в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его постояла несколько времени без пользы под огнем.

VII

Между тем с фронта другая колонна должна была напасть на французов, но при этой колонне был Кутузов. Он знал хорошо, что ничего, кроме путаницы, не выйдет из этого против его воли начатого сражения, и, насколько то было в его власти, удерживал войска. Он не двигался.

Кутузов молча ехал на своей серенькой лошадке, лениво отвечая на предложения атаковать.

— У вас все на языке атаковать, а не видите, что мы не умеем делать сложных маневров, — сказал он Милорадовичу, просившемуся вперед.

— Не умели утром взять живьем Мюрата и прийти вовремя на место: теперь нечего делать! — отвечал он другому.

Когда Кутузову доложили, что в тылу французов, где, по донесениям казаков, прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова (он с ним не говорил еще со вчерашнего дня).

— Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла и что Кутузов ограничится этим намеком.

— Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермолов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него.

Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил:

— Время не упущено, ваша светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать? А то гвардия и дыма не увидит.

Кутузов ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступленье; но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа.

Все сраженье состояло только в том, что сделали казаки Орлова-Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей.

Вследствие этого сражения Кутузов получил алмазный знак, Бенигсен тоже алмазы и сто тысяч рублей, другие, по чинам соответственно, получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемещения в штабе.

«Вот как *у нас всегда* делается, все навыворот!» — говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы, — точно так же, как и говорят теперь, давая чувствовать, что кто-то там глупый делает так, навыворот, а мы бы не так сделали. Но люди, говорящие так, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя. Всякое сражение — Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое — всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенное условие.

Бесчисленное количество свободных сил (ибо нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти) влияет на направление сражения, и это направление никогда не может быть известно вперед и никогда не совпадает с направлением какой-нибудь одной силы.

Ежели многие, одновременно и разнообразно направленные силы действуют на какое-нибудь тело, то направление движения этого тела не может совпадать ни с одной из сил; а будет всегда среднее, кратчайшее направление, то, что в механике выражается диагональю параллелограмма сил.

Ежели в описаниях историков, в особенности французских, мы находим, что у них войны и сражения исполняются по вперед определенному плану, то единственный вывод, который мы можем сделать из этого, состоит в том, что описания эти не верны.

Тарутинское сражение, очевидно, не достигло той цели, которую имел в виду Толь: по порядку ввести по диспозиции в дело войска, и той, которую мог иметь граф Орлов: взять в плен Мюрата, или цели истребления мгновенно всего корпуса, которую могли иметь Бенигсен и другие лица, или цели офицера, желавшего попасть в дело и отличиться, или казака, который хотел приобрести больше добычи, чем он приобрел, и т. д. Но, если целью было то, что действительно совершилось, и то, что

для всех русских людей тогда было общим желанием (изгнание французов из России и истребление их армии), то будет совершенно ясно, что Тарутинское сражение, именно вследствие его несообразностей, было то самое, что было нужно в тот период кампании. Трудно и невозможно придумать какой-нибудь исход этого сражения, более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом малом напряжении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере были приобретены самые большие результаты во всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступлению, была обличена слабость французов и был дан тот толчок, которого только и ожидало наполеоновское войско для начатия бегства.

VIII

Наполеон вступает в Москву после блестящей победы de la Moskowa; сомнения в победе не может быть, так как поле сражения остается за французами. Русские отступают и отдают столицу. Москва, наполненная провиантом, оружием, снарядами и несметными богатствами, — в руках Наполеона. Русское войско, вдвое слабейшее французского, в продолжение месяца не делает ни одной попытки нападения. Положение Наполеона самое блестящее. Для того, чтобы двойными силами навалиться на остатки русской армии и истребить ее, для того, чтобы выговорить выгодный мир или, в случае отказа, сделать угрожающее движение на Петербург, для того, чтобы даже, в случае неудачи, вернуться в Смоленск или в Вильну, или остаться в Москве, — для того, одним словом, чтобы удержать то блестящее положение, в котором находилось в то время французское войско, казалось бы, не нужно особенной гениальности. Для этого нужно было сделать самое простое и легкое: не допустить войска до грабежа, заготовить зимние одежды, которых достало бы в Москве на всю армию, и правильно собрать находившийся в Москве более чем на полгода (по показанию французских историков) провиант всему войску. Наполеон, этот гениальнейший из гениев и имевший власть управлять армиею, как утверждают историки, ничего не сделал этого.

Он не только не сделал ничего этого, но, напротив, употребил свою власть на то, чтобы из всех представляв-

шихся ему путей деятельности выбрать то, что было глупее и пагубнее всего. Из всего, что мог сделать Наполеон: зимовать в Москве, идти на Петербург, идти на Нижний Новгород, идти назад, севернее или южнее, тем путем, которым пошел потом Кутузов, — ну что бы ни придумать, глупее и пагубнее того, что сделал Наполеон, то есть оставаться до октября в Москве, предоставляя войскам грабить город, потом, колеблясь, оставить или не оставить гарнизон, выйти из Москвы, подойти к Кутузову, не начать сражения, пойти вправо, дойти до Малого Ярославца, опять не испытав случайности пробиться, пойти не по той дороге, по которой пошел Кутузов, а пойти назад на Можайск и по разоренной Смоленской дороге,— глупее этого, пагубнее для войска ничего нельзя было придумать, как то и показали последствия. Пускай самые искусные стратегики придумают, представив себе, что цель Наполеона состояла в том, чтобы погубить свою армию, придумают другой ряд действий, который бы с такой же несомненностью и независимостью от всего того, что бы ни предприняли русские войска, погубил бы так совершенно всю французскую армию, как то, что сделал Наполеон.

Гениальный Наполеон сделал это. Но сказать, что Наполеон погубил свою армию потому, что он хотел этого, или потому, что он был очень глуп, было бы точно так же несправедливо, как сказать, что Наполеон довел свои войска до Москвы потому, что он хотел этого, и потому, что он был очень умен и гениален.

В том и другом случае личная деятельность его, не имевшая больше силы, чем личная деятельность каждого солдата, только совпадала с теми законами, по которым совершалось явление.

Совершенно ложно (только потому, что последствия не оправдали деятельности Наполеона) представляют нам историки силы Наполеона ослабевшими в Москве. Он, точно так же, как и прежде, как и после, в 13-м году, употреблял все свое уменье и силы на то, чтобы сделать наилучшее для себя и своей армии. Деятельность Наполеона за это время не менее изумительна, чем в Египте, в Италии, в Австрии и в Пруссии. Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительна гениальность Наполеона в Египте, где сорок веков смотрели на его величие, потому что эти все великие подвиги описаны нам

только французами. Мы не можем верно судить о его гениальности в Австрии и Пруссии, так как сведения о его деятельности там должны черпать из французских и немецких источников; а непостижимая сдача в плен корпусов без сражений и крепостей без осады должна склонять немцев к признанию гениальности как к единственному объяснению той войны, которая велась в Германии. Но нам признавать его гениальность, чтобы скрыть свой стыд, слава богу, нет причины. Мы заплатили за то, чтоб иметь право просто и прямо смотреть на дело, и мы не уступим этого права.

Деятельность его в Москве так же изумительна и гениальна, как и везде. Приказания за приказаниями и планы за планами исходят из него со времени его вступления в Москву и до выхода из нее. Отсутствие жителей и депутации и самый пожар Москвы не смущают его. Он не упускает из виду ни блага своей армии, ни действий неприятеля, ни блага народов России, ни управления делами Парижа, ни дипломатических соображений о предстоящих условиях мира.

IX

В военном отношении, тотчас по вступлении в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастиани следить за движениями русской армии, рассылает корпуса по разным дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля; потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России. В отношении дипломатическом, Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив так же подробно свои виды и великодушие перед Тутолминым, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров.

В отношении юридическом, тотчас же после пожаров, велено найти виновных и казнить их. И злодей Растопчин наказан тем, что велено сжечь его дома.

В отношении административном, Москве дарована конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее:

«Жители Москвы!

Несчастия ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оное будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить через плечо, а градской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки.

Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а через ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров, или полицмейстеров, и двадцать комиссаров, или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемое несчастию. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение; но, чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастия, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой судьбы, были уверены, что неизбежимая и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваши имущества, а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были! Восстановите публичное доверие, источник счастия государства, живите, как братья, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь, чтоб опровергнуть намерения зломыслящих, пови-

нуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут».

В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву à la maraude[1] для заготовления себе провианта, так, чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время.

В отношении религиозном, Наполеон приказал ramener les popes[2] и возобновить служение в церквах.

В торговом отношении и для продовольствия армии было развешено везде следующее:

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ

«Вы, спокойные московские жители, мастеровые и рабочие люди, которых несчастия удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте! Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстанавливается. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его величество император и король их покровительствует и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелениям. Он хочет прекратить ваши несчастия и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте ж его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители! Возвращайтесь с доверием в ваши жилища: вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам! Ремесленники и трудолюбивые мастеровые! Приходите обратно к вашим рукодельям: домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату! И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы, в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтоб обеспечить им свободную продажу: 1) Считая от сего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду

[1] мародерствовать.
[2] привести назад попов.

ни были, в двух назначенных лабазах, то есть на Моховую и в Охотный ряд. 2) Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою; но если продавец не получит требуемую им справедливую цену, то волен будет повезти их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. 3) Каждое воскресенье и середа назначены еженедельно для больших торговых дней; почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах, в таком расстоянии от города, чтоб защищать те обозы. 4) Таковые ж меры будут взяты, чтоб на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия. 5) Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были! Вас взывают исполнять отеческие намерения его величества императора и короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите *соединиться* с нами!»

В отношении поднятия духа войска и народа, беспрестанно делались смотры, раздавались награды. Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей; и, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры.

В отношении благотворительности, лучшей доблести венценосцев, Наполеон делал тоже все, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать Maison de ma mère [1], соединяя этим актом нежное сыновнее чувство с величием добродетели монарха. Он посетил Воспитательный дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с Тутолминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалованье своим войскам русскими, сделанными им, фальшивыми деньгами. Relevant l'emploi de ces moyens par un acte digne de lui et de l'armée Française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux pour être donnés à des étrangers la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de

[1] Дом моей матери.

l'argent afin qu'ils se fournissent au dehors, et leur fit distribuer des roubles papiers[1].

В отношении дисциплины армии, беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.

X

Но странное дело, все эти распоряжения, заботы и планы, бывшие вовсе не хуже других, издаваемых в подобных же случаях, не затрогивали сущности дела, а, как стрелки циферблата в часах, отделенного от механизма, вертелись произвольно и бесцельно, не захватывая колес.

В военном отношении, гениальный план кампании, про который Тьер говорит: que son génie n'avait jamais rien imaginé de plus profond, de plus habile et de plus admirable[2] и относительно которого Тьер, вступая в полемику с г-м Феном, доказывает, что составление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4-му, а к 15-му октября, план этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности. Укрепление Кремля, для которого надо было срыть la Mosquée[3] (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремлем только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, то есть чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которое так озабочивало Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли шестидесятитысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и, кажется, тоже

[1] Возвышая употребление этих мер действием, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособия погоревшим. Но, так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы давать их людям чужой земли и по большей части враждебно расположенным, Наполеон счел лучшим дать им денег, чтобы они добывали себе продовольствие на стороне; и он приказал оделять их бумажными рублями.

[2] гений его никогда не изобретал ничего более глубокого, более искусного и более удивительного.

[3] мечеть. — *Ред.*

гениальности Мюрата удалось найти, как булавку, эту шестидесятитысячную русскую армию.

В дипломатическом отношении, все доводы Наполеона о своем великодушии и справедливости, и перед Тутолминым, и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны: Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство.

В отношении юридическом, после казни мнимых поджигателей сгорела другая половина Москвы.

В отношении административном, учреждение муниципалитета не остановило грабежа и принесло только пользу некоторым лицам, участвовавшим в этом муниципалитете и, под предлогом соблюдения порядка, грабившим Москву или сохранявшим свое от грабежа.

В отношении религиозном, так легко устроенное в Египте дело посредством посещения мечети, здесь не принесло никаких результатов. Два или три священника, найденные в Москве, попробовали исполнить волю Наполеона, но одного из них по щекам прибил французский солдат во время службы, а про другого доносил следующее французский чиновник: «Le prêtre, que j'avais découvert et invité à recommencer à dire la messe, a nettoyé et fermé l'église. Cette nuit on est venu de nouveau enfoncer les portes, casser les cadenas, déchirer les livres et commettre d'autres désordres» [1].

В торговом отношении, на провозглашение трудолюбивым ремесленникам и всем крестьянам не последовало никакого ответа. Трудолюбивых ремесленников не было, а крестьяне ловили тех комиссаров, которые слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и убивали их.

В отношении увеселений народа и войска театрами, дело точно так же не удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Познякова театры тотчас же закрылись, потому что ограбили актрис и актеров.

Благотворительность и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые ассигнации и нефальшивые наполняли Москву и не имели цены. Для французов, собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые ассигнации, которые Наполеон так милостиво

[1] «Священник, которого я нашел и пригласил начать служить обедню, вычистил и запер церковь. В ту же ночь пришли опять ломать двери и замки, рвать книги и производить другие беспорядки».

раздавал несчастным, не имели цены, но серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото.

Но самое поразительное явление недействительности высших распоряжений в то время было старание Наполеона остановить грабежи и восстановить дисциплину.

Вот что доносили чины армии.

«Грабежи продолжаются в городе, несмотря на повеление прекратить их. Порядок еще не восстановлен, и нет ни одного купца, отправляющего торговлю законным образом. Только маркитанты позволяют себе продавать, да и то награбленные вещи».

«La partie de mon arrondissement continue à être en proie au pillage des soldats du 3 corps, qui, non contents d'arracher aux malheureux réfugiés dans des souterrains le peu qui leur reste, ont même la férocité de les blesser à coups de sabre, comme j'en ai vu plusieurs exemples».

«Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller. Le 9 octobre».

«Le vol et le pillage continuent. Il y a une bande de voleurs dans notre district qu'il faudra faire arrêter par de fortes gardes. Le 11 octobre» [1].

«Император чрезвычайно недоволен, что, несмотря на строгие повеления остановить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающиеся в Кремль. В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, нежели когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример подчиненности, до такой степени простирают ослушание, что разбивают погреба и магазины, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушали часовых и караульных офицеров, ругали их и били».

«Le grand maréchal du palais se plaint vivement, — писал губернатор, — que malgré les défenses réitérées, les

---

[1] «Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу солдат 3-го корпуса, которые не довольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подвалы, но еще и с жестокостию наносят им раны саблями, как я сам много раз видел».

«Ничего нового, только что солдаты позволяют себе грабить и воровать. 9 октября».

«Воровство и грабеж продолжаются. Существует шайка воров в нашем участке, которую надо будет остановить сильными мерами. 11 октября».

soldats continuent à faire leurs besoins dans toutes les cours et même jusque sous les fenêtres de l'Empereur» [1].

Войско это, как распущенное стадо, топча под ногами тот корм, который мог бы спасти его от голодной смерти, распадалось и гибло с каждым днем лишнего пребывания в Москве.

Но оно не двигалось.

Оно побежало только тогда, когда его вдруг охватил панический страх, произведенный перехватами обозов по Смоленской дороге и Тарутинским сражением. Это же самое известие о Тарутинском сражении, неожиданно на смотру полученное Наполеоном, вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер, и он отдал приказание о выступлении, которого требовало все войско.

Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный trésor [2]. Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся (как говорит Тьер). Но он, с своей опытностью войны, не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала, подходя к Москве, но он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта, больных и раненых.

Положение всего войска было подобно положению раненого животного, чувствующего свою погибель и не знающего, что оно делает. Изучать искусные маневры Наполеона и его войска и его цели со времени вступления в Москву и до уничтожения этого войска — все равно, что изучать значение предсмертных прыжков и судорог смертельно раненного животного. Очень часто раненое животное, заслышав шорох, бросается на выстрел на охотника, бежит вперед, назад и само ускоряет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением всего его войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся назад, опять вперед, опять назад и, наконец, как всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому, старому следу.

---

[1] «Обер-церемониймейстер дворца сильно жалуется на то, что, несмотря на все запрещения, солдаты продолжают ходить на час во всех дворах и даже под окнами императора».

[2] сокровище. — *Ред.*

Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля, силою, руководящею корабль), Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит.

XI

6-го октября, рано утром, Пьер вышел из балагана и, вернувшись назад, остановился у двери, играя с длинной, на коротких кривых ножках, лиловой собачонкой, вертевшейся около него. Собачонка эта жила у них в балагане, ночуя с Каратаевым, но иногда ходила куда-то в город и опять возвращалась. Она, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь она была ничья и не имела никакого названия. Французы звали ее Азор, солдат-сказочник звал ее Фемгалкой, Каратаев и другие звали ее Серый, иногда Вислый. Непринадлежание ее никому и отсутствие имени и даже породы, даже определенного цвета, казалось, нисколько не затрудняло лиловую собачонку. Пушной хвост панашем твердо и кругло стоял кверху, кривые ноги служили ей так хорошо, что часто она, как бы пренебрегая употреблением всех четырех ног, поднимала грациозно одну заднюю и очень ловко и скоро бежала на трех лапах. Все для нее было предметом удовольствия. То, взвизгивая от радости, она валялась на спине, то грелась на солнце с задумчивым и значительным видом, то резвилась, играя с щепкой или соломинкой.

Одеяние Пьера теперь состояло из грязной продранной рубашки, единственном остатке его прежнего платья, солдатских порток, завязанных для тепла веревочками на щиколках по совету Каратаева, из кафтана и мужицкой шапки. Пьер очень изменился физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел все тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе. Борода и усы обросли нижнюю часть лица; отросшие, спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно-готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распущенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь энергиче-

ской, готовой на деятельность и отпор — подобранностью. Ноги его были босые.

Пьер смотрел то вниз по полю, по которому в нынешнее утро разъездились повозки и верховые, то вдаль за реку, то на собачонку, притворявшуюся, что она не на шутку хочет укусить его, то на свои босые ноги, которые он с удовольствием переставлял в различные положения, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства. Вид этих босых ног напоминал ему все то, что он пережил и понял за это время, и воспоминание это было ему приятно.

Погода уже несколько дней стояла тихая, ясная, с легкими заморозками по утрам — так называемое бабье лето.

В воздухе, на солнце, было тепло, и тепло это с крепительной свежестью утреннего заморозка, еще чувствовавшегося в воздухе, было особенно приятно.

На всем, и на дальних и на ближних предметах, лежал тот волшебно-хрустальный блеск, который бывает только в эту пору осени. Вдалеке виднелись Воробьевы горы, с деревнею, церковью и большим белым домом. И оголенные деревья, и песок, и камни, и крыши домов, и зеленый шпиль церкви, и углы дальнего белого дома — все это неестественно-отчетливо, тончайшими линиями вырезалось в прозрачном воздухе. Вблизи виднелись знакомые развалины полуобгорелого барского дома, занимаемого французами, с темно-зелеными еще кустами сирени, росшими по ограде. И даже этот разваленный и загаженный дом, отталкивающий своим безобразием в пасмурную погоду, теперь, в ярком, неподвижном блеске, казался чем-то успокоительно-прекрасным.

Французский капрал, по-домашнему расстегнутый, в колпаке, с коротенькой трубкой в зубах, вышел из-за угла балагана и, дружески подмигнув, подошел к Пьеру.

— Quel soleil, hein, monsieur Kiril? (так звали Пьера все французы). On dirait le printemps[1]. — И капрал прислонился к двери и предложил Пьеру трубку, несмотря на то, что всегда он ее предлагал и всегда Пьер отказывался.

---

[1] Каково солнце, а, господин Кирил? Точно весна.

— Si l'on marchait par un temps comme celui-là...[1] — начал он.

Пьер расспросил его, что слышно о выступлении, и капрал рассказал, что почти все войска выступают и что нынче должен быть приказ и о пленных. В балагане, в котором был Пьер, один из солдат, Соколов, был при смерти болен, и Пьер сказал капралу, что надо распорядиться этим солдатом. Капрал сказал, что Пьер может быть спокоен, что на это есть подвижной и постоянный госпитали, и что о больных будет распоряжение, и что вообще все, что только может случиться, все предвидено начальством.

— Et puis, monsieur Kiril, vous n'avez qu'à dire un mot au capitaine, vous savez. Oh, c'est un... qui n'oublie jamais rien. Dites au capitaine quand il fera sa tournée, il fera tout pour vous...[2]

Капитан, про которого говорил капрал, почасту и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения.

— Vois-tu, St. Thomas, qu'il me disait l'autre jour: Kiril c'est un homme qui a de l'instruction, qui parle français; c'est un seigneur russe, qui a eu des malheurs, mais c'est un homme. Et il s'y entend le... S'il demande quelque chose, qu'il me dise, il n'y a pas de refus. Quand on a fait ses études, voyez vous, on aime l'instruction et les gens comme il faut. C'est pour vous, que je dis cela, monsieur Kiril. Dans l'affaire de l'autre jour si ce n'était grâce à vous, ça aurait fini mal[3].

И, поболтав еще несколько времени, капрал ушел. (Дело, случившееся намедни, о котором упоминал капрал, была драка между пленными и французами, в которой Пьеру удалось усмирить своих товарищей.) Несколько человек пленных слушали разговор Пьера с капралом и тотчас же стали спрашивать, что он сказал.

---

[1] В такую бы погоду в поход идти...

[2] И потом, господин Кирил, вам стоит сказать слово капитану, вы знаете... Это такой... ничего не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход; он все для вас сделает...

[3] Вот, клянусь святым Фомою, он мне говорил однажды: Кирил — это человек образованный, говорит по-французски; это русский барин, с которым случилось несчастие, но он человек. Он знает толк... Если ему что нужно, отказа нет. Когда учился кой-чему, то любишь просвещение и людей благовоспитанных. Это я про вас говорю, господин Кирил. Намедни, если бы не вы, то худо бы кончилось.

В то время как Пьер рассказывал своим товарищам то, что капрал сказал о выступлении, к двери балагана подошел худощавый, желтый и оборванный французский солдат. Быстрым и робким движением приподняв пальцы ко лбу в знак поклона, он обратился к Пьеру и спросил его, в этом ли балагане солдат Platoche, которому он отдал шить рубаху.

С неделю тому назад французы получили сапожный товар и полотно и роздали шить сапоги и рубахи пленным солдатам.

— Готово, готово, соколик! — сказал Каратаев, выходя с аккуратно сложенной рубахой.

Каратаев, по случаю тепла и для удобства работы, был в одних портках и в черной, как земля, продранной рубашке. Волоса его, как это делают мастеровые, были обвязаны мочалочкой, и круглое лицо его казалось еще круглее и миловиднее.

— Уговорец — делу родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал, — говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку.

Француз беспокойно оглянулся и, как будто преодолев сомнение, быстро скинул мундир и надел рубаху. Под мундиром на французе не было рубахи, а на голое, желтое, худое тело был надет длинный, засаленный, шелковый с цветочками жилет. Француз, видимо, боялся, чтобы пленные, смотревшие на него, не засмеялись, и поспешно сунул голову в рубашку. Никто из пленных не сказал ни слова.

— Вишь, в самый раз, — приговаривал Платон, обдергивая рубаху. Француз, просунув голову и руки, не поднимая глаз, оглядывал на себе рубашку и рассматривал шов.

— Что ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти и вша не убьешь, — говорил Платон, кругло улыбаясь и, видимо, сам радуясь на свою работу.

— C'est bien, c'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste? [1] — сказал француз.

— Она еще ладнее будет, как ты на тело-то наденешь, — говорил Каратаев, продолжая радоваться на свое произведение. — Вот и хорошо и приятно будет...

[1] Хорошо, хорошо, спасибо, а полотно где, что осталось?

— Merci, merci, mon vieux, le reste?.. — повторил француз, улыбаясь, и, достав ассигнацию, дал Каратаеву, — mais le reste... [1]

Пьер видел, что Платон не хотел понимать того, что говорил француз, и, не вмешиваясь, смотрел на них. Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.

— На что же ему остатки-то? — сказал Каратаев. — Нам подверточки-то важные бы вышли. Ну, да бог с ним. — И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи сверточек обрезков и, не глядя на него, подал французу. — Эхма! — проговорил Каратаев и пошел назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и как будто взгляд Пьера что-то сказал ему.

— Platoche, dites donc, Platoche, — вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голосом. — Gardez pour vous [2], — сказал он, подавая обрезки, повернулся и ушел.

— Вот поди ты, — сказал Каратаев, покачивая головой. — Говорят, нехристи, а тоже душа есть. То-то старички говаривали: потная рука торовата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот отдал же. — Каратаев, задумчиво улыбаясь и глядя на обрезки, помолчал несколько времени. — А подверточки, дружок, важнеющие выдут, — сказал он и вернулся в балаган.

XII

Прошло четыре недели с тех пор, как Пьер был в плену. Несмотря на то, что французы предлагали перевести его из солдатского балагана в офицерский, он остался в том балагане, в который поступил с первого дня.

В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек; но, благодаря своему сильному сложению и здоровью, которого он не сознавал до сих пор, и в особенности благодаря тому, что эти лишения подходили так незаметно, что нельзя было сказать, когда они начались, он переносил не только легко, но и радостно свое поло-

---

[1] Спасибо, спасибо, любезный, а остаток-то где?.. Остаток-то давай.

[2] Платош, а Платош. Возьми себе.

жение. И именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, — он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всем этом. «России да лету — союзу нету», — повторял он слова Каратаева, и эти слова странно успокоивали его. Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисления о кабалистическом числе и звере Апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны. Что ему было за дело до того, что эта женщина вела там где-то ту жизнь, которая ей нравилась? Кому, в особенности ему, какое дело было до того, что узнают или не узнают, что имя их пленного было граф Безухов?

Теперь он часто вспоминал свой разговор с князем Андреем и вполне соглашался с ним, только несколько иначе понимая мысль князя Андрея. Князь Андрей думал и говорил, что счастье бывает только отрицательное, но он говорил это с оттенком горечи и иронии. Как будто, говоря это, он высказывал другую мысль — о том, что все вложенные в нас стремленья к счастью положительному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, мучить нас. Но Пьер без всякой задней мысли признавал справедливость этого. Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора занятий, то есть образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомненным и высшим счастьем человека. Здесь,

теперь только, в первый раз Пьер вполне оценил наслажденье еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей — хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастием, а выбор занятия, то есть жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, казались ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств жизни уничтожает все счастие удовлетворения потребностей, а бóльшая свобода выбора занятий, та свобода, которую ему в его жизни давали образование, богатство, положение в свете, что эта-то свобода и делает выбор занятий неразрешимо трудным и уничтожает самую потребность и возможность занятия.

Все мечтания Пьера теперь стремились к тому времени, когда он будет свободен. А между тем впоследствии и во всю свою жизнь Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытывал только в это время.

Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидал сначала темные купола, кресты Ново-Девичьего монастыря, увидал морозную росу на пыльной траве, увидал холмы Воробьевых гор и извивающийся над рекою и скрывающийся в лиловой дали лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услыхал звуки летевших из Москвы через поле галок и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река, все заиграло в радостном свете, — Пьер почувствовал новое, не испытанное им чувство радости и крепости жизни.

И чувство это не только не покидало его во все время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения.

Чувство этой готовности на все, нравственной подобранности еще более поддерживалось в Пьере тем высоким мнением, которое, вскоре по его вступлении в балаган, установилось о нем между его товарищами. Пьер с своим знанием языков, с тем уважением, которое ему оказывали французы, с своей простотой, отдававший все,

что у него просили (он получал офицерские три рубля в неделю), с своей силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену балагана, с кротостью, которую он выказывал в обращении с товарищами, с своей непонятной для них способностью сидеть неподвижно и, ничего не делая, думать, представлялся солдатам несколько таинственным и высшим существом. Те самые свойства его, которые в том свете, в котором он жил прежде, были для него если не вредны, то стеснительны — его сила, пренебрежение к удобствам жизни, рассеянность, простота, — здесь, между этими людьми, давали ему положение почти героя. И Пьер чувствовал, что этот взгляд обязывал его.

XIII

В ночь с 6-го на 7-е октября началось движение выступавших французов: ломались кухни, балаганы, укладывались повозки и двигались войска и обозы.

В семь часов утра конвой французов, в походной форме, в киверах, с ружьями, ранцами и огромными мешками, стоял перед балаганами, и французский оживленный говор, пересыпаемый ругательствами, перекатывался по всей линии.

В балагане все были готовы, одеты, подпоясаны, обуты и ждали только приказания выходить. Больной солдат Соколов, бледный, худой, с синими кругами вокруг глаз, один, не обутый и не одетый, сидел на своем месте и выкатившимися от худобы глазами вопросительно смотрел на не обращавших на него внимания товарищей и негромко и равномерно стонал. Видимо, не столько страдания — он был болен кровавым поносом, — сколько страх и горе оставаться одному заставляли его стонать.

Пьер, обутый в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, который принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанный веревкою, подошел к больному и присел перед ним на корточки.

— Что ж, Соколов, они ведь не совсем уходят! У них тут гошпиталь. Может, тебе еще лучше нашего будет, — сказал Пьер.

— О господи! О смерть моя! О господи! — громче застонал солдат.

— Да я сейчас еще спрошу их, — сказал Пьер и, поднявшись, пошел к двери балагана. В то время как Пьер

подходил к двери, снаружи подходил с двумя солдатами тот капрал, который вчера угощал Пьера трубкой. И капрал и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застегнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица.

Капрал шел к двери с тем, чтобы, по приказанию начальства, затворить ее. Перед выпуском надо было пересчитать пленных.

— Caporal, que fera-t-on du malade?..[1] — начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усумнился, тот ли это знакомый его капрал или другой, неизвестный человек: так непохож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов. Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно; с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стоны больного.

«Вот оно!.. Опять оно!» — сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча, нахмурившись, стоял у двери балагана.

Когда двери балагана отворились и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперед их и подошел к тому самому капитану, который, по уверению капрала, готов был все сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело тоже «оно», которое Пьер узнал в словах капрала и в треске барабанов.

— Filez, filez[2], — приговаривал капитан, строго хмурясь и глядя на толпившихся мимо него пленных. Пьер знал, что его попытка будет напрасна, но подошел к нему.

[1] Капрал, что с больным делать?..
[2] Проходите, проходите.

— Eh bien, qu'est ce qu'il y a? — холодно оглянувшись, как бы не узнав, сказал офицер. Пьер сказал про больного.

— Il pourra marcher, que diable! — сказал капитан. — Filez, filez [1], — продолжал он приговаривать, не глядя на Пьера.

— Mais non, il est à l'agonie... [2] — начал было Пьер.

— Voulez vous bien?! [3] — злобно нахмурившись, крикнул капитан.

Драм да да дам, дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить еще что-нибудь было бесполезно.

Пленных офицеров отделили от солдат и велели им идти впереди. Офицеров, в числе которых был Пьер, было человек тридцать, солдатов человек триста.

Пленные офицеры, выпущенные из других балаганов, были все чужие, были гораздо лучше одеты, чем Пьер, и смотрели на него, в его обуви, с недоверчивостью и отчужденностью. Недалеко от Пьера шел, видимо, пользующийся общим уважением своих товарищей пленных, толстый майор в казанском халате, подпоясанный полотенцем, с пухлым, желтым, сердитым лицом. Он одну руку с кисетом держал за пазухой, другою опирался на чубук. Майор, пыхтя и отдуваясь, ворчал и сердился на всех за то, что ему казалось, что его толкают и что все торопятся, когда торопиться некуда, все чему-то удивляются, когда ни в чем ничего нет удивительного. Другой, маленький худой офицер, со всеми заговаривал, делая предположения о том, куда их ведут теперь и как далеко они успеют пройти нынешний день. Чиновник, в валеных сапогах и комиссариатской форме, забегал с разных сторон и высматривал сгоревшую Москву, громко сообщая свои наблюдения о том, что сгорело и какая была та или эта видневшаяся часть Москвы. Третий офицер, польского происхождения по акценту, спорил с комиссариатским чиновником, доказывая ему, что он ошибался в определении кварталов Москвы.

— О чем спорите? — сердито говорил майор. — Николы ли, Власа ли, все одно; видите, все сгорело, ну и конец...

[1] Ну, что еще? — Он пойдет, черт возьми! Проходите, проходите.

[2] Да нет же, он умирает...

[3] Пойди ты к...

Что толкаетесь-то, разве дороги мало, — обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его.

— Ай, ай, ай, что наделали! — слышались, однако, то с той, то с другой стороны голоса пленных, оглядывающих пожарища. — И Замоскворечье-то, и Зубово, и в Кремле-то, смотрите, половины нет... Да я вам говорил, что все Замоскворечье, вон так и есть.

— Ну, знаете, что сгорело, ну о чем же толковать! — говорил майор.

Проходя через Хамовники (один из немногих несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и послышались восклицания ужаса и омерзения.

— Ишь мерзавцы! То-то нехристи! Да мертвый, мертвый и есть... вымазали чем-то.

Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызывало восклицания, и смутно увидал что-то, прислоненное к ограде церкви. Из слов товарищей, видевших лучше его, он узнал, что это что-то был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей.

— Marchez, sacré nom... Filez... trente mille diables... [1] — послышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разогнали тесаками толпу пленных, смотревшую на мертвого человека.

XIV

По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.

У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по набе-

[1] Иди! иди! Черти! Дьяволы!

режной и через Каменный мост, тянулись войска и обозы Нея.

Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.

Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана.

Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.

— Народу-то! Эка народу!.. И на пушках-то навалили! Смотри: меха... — говорили они. — Вишь, стервецы, награбили... Вон у того-то сзади, на телеге... Ведь это — с иконы, ей-богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей-богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился-то, насилу идет! Вот-те на, дрожки — и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках-то. Батюшки!.. Подрались!..

— Так его по морде-то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите... а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади-то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались... Женщина с ребеночком, и недурна. Да, как же, так тебя и пропустят... Смотри, и конца нет. Девки русские, ей-богу, девки! В колясках ведь как покойно уселись!

Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге, и Пьер благодаря своему росту через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные, в ярких цветах,

нарумяненные, что-то кричащие пискливыми голосами женщины.

С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда-то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления — как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее.

Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины.

Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их.

Все эти люди, лошади как будто гнались какой-то невидимою силою. Все они, в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться; оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески-решительное и жестоко-холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице капрала.

Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу.

Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову.

Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стреми-

тельного куда-то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще, куда идут, и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.

С пленными на этом привале конвойные обращались еще хуже, чем при выступлении. На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана кониною.

От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения.

Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, — бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги, и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер-офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер-офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.

Пьер поужинал похлебкою из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами.

Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им: все были, как в отпор ухудшающемуся положению, особенно оживлены и веселы. Говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении.

Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое-где по небу; красное, подобное пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось

поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.

Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.

— Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами.

Какой-то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.

XV

В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть не может.

Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том,

что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии Брусье и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее, то, что должно было совершиться; послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье.

По странной случайности это назначение — самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, — получил Дохтуров; тот самый скромный, маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи, и т. п., которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами, с Аустерлица и до тринадцатого года, мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет и ни одного генерала нет в ариергарде. Он, больной в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске, едва задремал он на Молоховских воротах, в пароксизме лихорадки, его будит канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции 9 к 1 и вся сила французской артиллерии направлена туда, — посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, и Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький, тихенький Дохтуров едет туда, и Бородино — лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Дохтурове почти ни слова.

Опять Дохтурова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слове, или очень мало, или сомнительно.

Это-то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства.

Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройства машины, не может понять того, что не эта портящая и мешающая делу щепка, а та маленькая, передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины.

10-го октября, в тот самый день, как Дохтуров прошел половину дороги до Фоминского и остановился в деревне Аристове, приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско, в своем судорожном движении дойдя до позиции Мюрата, как казалось, для того, чтобы дать сражение, вдруг без причины повернуло влево на новую Калужскую дорогу и стало входить в Фоминское, в котором прежде стоял один Брусье. У Дохтурова под командою в это время было, кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина.

Вечером 11-го октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге к Боровску. Из всех этих известий стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению — по старой Калужской дороге. Дохтуров ничего не хотел предпринимать, так как ему не ясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское. Но в Фоминском прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Дохтуров настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от светлейшего. Решено было послать донесение в штаб.

Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на сло-

вах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал, сопутствуемый казаком, с запасными лошадьми в главный штаб.

XVI

Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.

— Дежурного генерала скорее! Очень важное! — проговорил он кому-то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.

— С вечера нездоровы очень были, третью ночь не спят, — заступнически прошептал денщицкий голос. — Уж вы капитана разбудите сначала.

— Очень важное, от генерала Дохтурова, — сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого-то:

— Ваше благородие, ваше благородие — кульер.

— Что, что? от кого? — проговорил чей-то сонный голос.

— От Дохтурова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском, — сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын.

Разбуженный человек зевал и тянулся.

— Будить-то мне его не хочется, — сказал он, ощупывая что-то. — Больнёшенек! Может, так, слухи.

— Вот донесение, — сказал Болховитинов, — велено сейчас же передать дежурному генералу.

— Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? — обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. — Нашел, нашел, — прибавил он.

Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.

— Ах, мерзкие, — с отвращением сказал он.

При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.

Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.

— Да кто доносит? — сказал Щербинин, взяв конверт.

— Известие верное, — сказал Болховитинов. — И пленные, и казаки, и лазутчики — все единогласно показывают одно и то же.

— Нечего делать, надо будить, — сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. — Петр Петрович! — проговорил он. Коновницын не шевелился. — В главный штаб! — проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно-воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно-спокойное и твердое выражение.

— Ну, что такое? От кого? — неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.

— Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.

Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.

Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12-го года — Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда

находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.

Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.

Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.

XVII

Кутузов, как и все старые люди, мало сыпáл по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.

С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.

«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины-богатыри!» — думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблока, пока оно зелено. Оно само упадет, когда

будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.

«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! — думал он. — К чему? Все отличиться. Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.

И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две-три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»

Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее — к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов; но одного, чего он не мог

предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, — метания, которое сделало возможным то, о чем все-таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы — все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего-нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m-me Staël, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.

В ночь 11-го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.

В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.

— Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? — окликнул их фельдмаршал.

Пока лакей зажигал свечу, Толь рассказывал содержание известий.

— Кто привез? — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.

— Не может быть сомнения, ваша светлость.

— Позови, позови его сюда!

Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую, согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.

— Скажи, скажи, дружок, — сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. — Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.

— Говори, говори скорее, не томи душу, — перебил его Кутузов.

Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! — И он заплакал.

XVIII

Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.

Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.

Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.

Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его

под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?

Армия не могла нигде поправиться. Она, с Бородинского сражения и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения.

Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями сами не зная куда, желая (Наполеон и каждый солдат) только одного: выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали.

Только поэтому, на совете в Малоярославце, когда, притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины.

Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд. И толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов le Hourra de l'Empereur[1].

На другой день после совета Наполеон, рано утром, притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, с свитой маршалов и конвоя ехал посередине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть-чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов: добыча, на которую и в Тарутине и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти.

Когда вот-вот les enfants du Don[2] могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон, с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней

[1] императорское ура. — *Ред.*
[2] сыны Дона. — *Ред.*

поворотливости и смелости, понял этот намек. И под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с Мутоном и отдал, как говорят историки, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу.

То, что Наполеон согласился с Мутоном и что войска пошли назад, не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию, в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.

XIX

Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что-то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.

Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была родина. Но родина была слишком далеко, и для человека, идущего тысячу верст, непременно нужно сказать себе, забыв о конечной цели: «Нынче я приду за сорок верст на место отдыха и ночлега», и в первый переход это место отдыха заслоняет конечную цель и сосредоточивает на себе все желанья и надежды. Те стремления, которые выражаются в отдельном человеке, всегда увеличиваются в толпе.

Для французов, пошедших назад по старой Смоленской дороге, конечная цель родины была слишком отдалена, и ближайшая цель, та, к которой, в огромной пропорции усиливаясь в толпе, стремились все желанья и надежды, — была Смоленск. Не потому, чтобы люди знали, что в Смоленске было много провианту и свежих войск, не потому, чтобы им говорили это (напротив, высшие чины армии и сам Наполеон знали, что там мало провианта), но потому, что это одно могло им дать силу двигаться и переносить настоящие лишения. Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя, как к обетованной земле, стремились к Смоленску.

Выйдя на большую дорогу, французы с поразительной энергией, с быстротою неслыханной побежали к своей выдуманной цели. Кроме этой причины общего стремле-

ния, связывавшей в одно целое толпы французов и придававшей им некоторую энергию, была еще другая причина, связывавшая их. Причина эта состояла в их количестве. Сама огромная масса их, как в физическом законе притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей стотысячной массой как целым государством.

Каждый человек из них желал только одного — отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий. Но, с одной стороны, сила общего стремления к цели Смоленска увлекала каждого в одном и том же направлении; с другой стороны — нельзя было корпусу отдаться в плен роте, и, несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтобы отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся процесс разложения.

Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег.

Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого. Когда определилось направление бегства французской армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновницын в ночь 11-го октября, начало сбываться. Все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления.

Кутузов один все силы свои (силы эти очень невелики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению.

Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное добиванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они могли бы понять, — он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним,

клеветали его, и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.

Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения, лист белой бумаги.

И сколько ни старался Кутузов удержать войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки, как рассказывают, с музыкой и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Но отрезать — никого не отрезали и не опрокинули. И французское войско, стянувшись крепче от опасности, продолжало, равномерно тая, все тот же свой гибельный путь к Смоленску.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов, без новых сражений, — есть одно из самых поучительных явлений истории.

Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов, в их столкновениях между собой, выражается войнами; что непосредственно, вследствие бо́льших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.

Как ни странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, — все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что бо́льшие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и

тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.

Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск — Австрия лишается своих прав, и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии.

Но вдруг в 1812-м году французами одержана победа под Москвой. Москва взята, и вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать шестисоттысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, — невозможно.

После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько-нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн...

Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом.

Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что все в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам.

Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его.

Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства; фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненым — поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого происшедшего поединка.

Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, — историки, которые писали об этом событии.

Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войны. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление и пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война — все это были отступления от правил.

Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существовали какие-то правила для того, чтобы убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским, высшим по положению людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем

правилам стать в позицию en quarte или en tierce[1], сделать искусное выпадение в prime[2] и т. д., — дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие.

И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.

II

Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что, вместо того чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали гверильясы в Испании; это делали горцы на Кавказе; это делали русские в 1812-м году.

Войну такого рода назвали партизанскою и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противоположна известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника.

---

[1] четвертую, третью. — *Ред.*
[2] первую. — *Ред.*

Партизанская война (всегда успешная, как показывает история) прямо противуположна этому правилу.

Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison[1].

Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы.

Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.

В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что-то такое, на какое-то неизвестное x.

Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то — самое обыкновенное — в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.

А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот неизвестный x.

X этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.

Дух войска — есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.

---

[1] Право всегда на стороне больших армий. — *Ред.*

Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять вместо значения всего неизвестного X те условия, при которых проявляется сила, как-то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, из сравнения относительного значения этого неизвестного можно надеяться на определение самого неизвестного.

Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, $4x = 15y$. Следовательно, $x : y = 15:4$. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.

Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, — во всех народных войнах.

Французы, отступая в 1812-м году, хотя и должны бы защищаться отдельно, по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.

III

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

24-го августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем более увеличивалось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали Великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева — французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами и, не расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, — уже прошел. Теперь уже война эта определилась, всем стало ясно, что́ можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по правилам, ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов,

считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже все было возможно.

22-го октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он с своей партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову (тоже партизану с небольшой партией), ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов с штабами: все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников — один поляк, другой немец — почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться каждый к своему отряду, с тем чтобы напасть на транспорт.

— Нет, бг'ат, я сам с усам, — сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала-поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца.

Распорядившись таким образом, Денисов намеревался, без донесения о том высшим начальникам, вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим-то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра, недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две ставшие в грязи французские фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов.

Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу (в версте от Шамшева), на рассвете пасть с двух сторон как снег на голову и побить и забрать всех разом.

Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено шесть казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов.

Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось тысяча пятьсот человек. У Денисова было двести человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска; и для этой цели Денисову нужно было взять *языка* (то есть человека из неприятельской колонны). В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такою поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчишку-барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне.

Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатого — захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартиргеров.

IV

Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь.

На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он, так же как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой, черной бородой лицо его казалось сердито.

Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом, крупном донце ехал казачий эсаул — сотрудник Денисова,

Эсаул Ловайский — третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими светлыми глазками и спокойно-самодовольным выражением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро и неловко, — что Денисов человек, который сел на лошадь; тогда как, глядя на эсаула видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек вместе с лошадью одно, увеличенное двойною силою, существо.

Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок-проводник, в сером кафтане и белом колпаке.

Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и гривой и с продранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги, и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик.

Сзади, по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной лесной дороге, тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинутой на голову. Лошади, и рыжие и гнедые, все казались вороными от струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив. От лошадей поднимался пар. И одежды, и седла, и поводья — все было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля, и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь не шевелиться, чтобы отогревать ту воду, которая пролилась до тела, и не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденья, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги.

Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толканула его коленкой о дерево.

— Э, чег'т! — злобно вскрикнул Денисов и, оскаливая зубы, плетью раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе: и от дождя

и от голода (с утра никто ничего не ел), и главное оттого, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался.

«Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче, напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня — из-под носа захватит добычу кто-нибудь из больших партизанов», — думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного от Долохова.

Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.

— Едет кто-то, — сказал он.

Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым.

— Едут двое — офицер и казак. Только не *предположительно,* чтобы был сам подполковник, — сказал эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова.

Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоняя нагайкой, ехал офицер — растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер, — извините, что не совсем сухо...

Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.

— Вот говорили всё, что опасно, опасно, — сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. — Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два писто... А это что ж? — спросил он, увидав французского барабанщика, — пленный? Вы уже в сраженье были? Можно с ним поговорить?

— Г'остов! Петя! — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. — Да как же ты не сказал, кто ты? — И Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.

Офицер этот был Петя Ростов.

Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как толь-

ко Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.

— Ну, я г'ад тебя видеть, — перебил его Денисов, и лицо его приняло опять озабоченное выражение.

— Михаил Феоклитыч, — обратился он к эсаулу, — ведь это опять от немца. Он пг'и нем состоит. — И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала-немца присоединиться для нападения на транспорт. — Ежели мы его завтг'а не возьмем, они у нас из-под носа выг'вут, — заключил он.

В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, так, чтобы никто этого не заметил, под шинелью поправлял взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.

— Будет какое-нибудь приказание от вашего высокоблагородия? — сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, — или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?

— Пг'иказания?.. — задумчиво сказал Денисов. — Да ты можешь ли остаться до завтг'ашнего дня?

— Ах, пожалуйста... Можно мне при вас остаться? — вскрикнул Петя.

— Да как тебе именно велено от генег'ала — сейчас вег'нуться? — спросил Денисов. Петя покраснел.

— Да он ничего не велел. Я думаю, можно? — сказал он вопросительно.

— Ну, ладно, — сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжения о том, чтоб партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха, и чтобы офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.

— Ну, бог'ода, — обратился он к мужику-проводнику, — веди к Шамшеву.

Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг, к опушке леса.

V

Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая своими вывернутыми в лаптях ногами по кореньям и мокрым листьям, вел их к опушке леса.

Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.

— Пленного дайте сюда, — негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов.

Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к эсаулу, сообщая ему свои соображения.

Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-нибудь важного.

— Пг'идет, не пг'идет Долохов, надо бг'ать!.. А? — сказал Денисов, весело блеснув глазами.

— Место удобное, — сказал эсаул.

— Пехоту низом пошлем — болотами, — продолжал Денисов, — они подлезут к саду; вы заедете с казаками оттуда, — Денисов указал на лес за деревней, — а я отсюда, с своими гусаг'ами. И по выстг'елу...

— Лощиной нельзя будет — трясина,— сказал эсаул.— Коней увязишь, надо объезжать полевее...

В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу в лощине от пруда, щелкнул один выстрел, забелелся дымок, другой и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов и эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы.

— Ведь это Тихон наш, — сказал эсаул.

— Он! он и есть!

— Эка шельма, — сказал Денисов.

— Уйдет! — щуря глаза, сказал эсаул.

Человек, которого они называли Тихоном, подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и скрывшись на мгновенье, весь черный от воды, выбрался на четвереньках и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.

— Ну ловок, — сказал эсаул.

— Экая бестия! — с тем же выражением досады проговорил Денисов. — И что он делал до сих пор?

— Это кто? — спросил Петя.

— Это наш пластун. Я его посылал языка взять.

— Ах, да, — сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.

Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда, при начале своих действий, Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов, и когда он

спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что *миродеры* бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. *Миродеров* точно десятка два побили, а то мы худого не делали... — На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтобы его при ней оставили. Денисов велел оставить его.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.

Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно, со всего размаха, раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое — выворотить плечом в грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день по пятьдесят верст, — все указывали, посмеиваясь, на Тихона.

— Что ему, черту, делается, меренина здоровенный, — говорили про него.

Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренно и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде и шуток, которым охотно поддавался Тихон.

— Что, брат, не будешь? Али скрючило? — смеялись ему казаки, и Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бранил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных.

Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь еще, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но, или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.

VI

Поговорив еще несколько времени с эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад.

— Ну, бг'ат, тепег'ь поедем обсушимся, — сказал он Пете.

Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу, между деревьев, большими легкими шагами шел на длинных ногах, с длинными мотающимися руками, человек в куртке, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он, высоко подняв голову и как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.

— Ну где пг'опадал? — сказал Денисов.

— Где пропадал? За французами ходил, — смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.

— Зачем же ты днем полез? Скотина! Ну что ж, не взял?..

— Взять-то взял, — сказал Тихон.

— Где же он?

— Да я его взял сперва-наперво на зорьке еще, — про-

должал Тихон, переставляя пошире плоские, вывернутые в лаптях ноги, — да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу, другого поаккуратнее какого возьму.

— Ишь, шельма, так и есть, — сказал Денисов эсаулу. — Зачем же ты этого не пг'ивел?

— Да что ж его водить-то, — сердито и поспешно перебил Тихон, — не гожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?

— Эка бестия!.. Ну?..

— Пошел за другим, — продолжал Тихон, — подполоз я таким манером в лес, да и лег. — Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. — Один и навернись, — продолжал он. — Я его таким манером и сграбь. — Тихон быстро, легко вскочил. — Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит. А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором: что вы, мол, Христос с вами, — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь.

— То-то мы с горы видели, как ты стречка задавал через лужи-то, — сказал эсаул, суживая свои блестящие глаза.

Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо эсаула и Денисова, не понимая того, что все это значило.

— Ты дуг'ака-то не пг'едставляй, — сказал Денисов, сердито покашливая. — Зачем пег'вого не пг'ивел?

Тихон стал чесать одной рукой спину, другой голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба (за что он и прозван Щербатый). Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.

— Да что, совсем несправный, — сказал Тихон. — Одежонка плохенькая на нем, куда же его водить-то. Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын, не пойду, говорит.

— Экая скотина! — сказал Денисов. — Мне расспросить надо...

— Да я его спрашивал, — сказал Тихон. — Он говорит: плохо *зна́ком*. Наших, говорит, много, да всё плохие; только, говорит, одна названия. Ахнете, говорит, хорошенько, всех заберете, — заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова.

— Вот я те всыплю сотню гог'ячих, ты и будешь дуг'ака-то ког'чить, — сказал Денисов строго.

— Да что же серчать-то, — сказал Тихон, — что ж, я не видал французов ваших? Вот дай позатемняет, я табе каких хошь, хоть троих приведу.

— Ну, поедем, — сказал Денисов, и до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча.

Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст.

Когда прошел тот овладевший им смех при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновенье, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился.

Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны все благополучно.

Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю.

— Ну, г'асскажи ты мне пг'о себя, — сказал он.

VII

Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры, и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо-возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его не было.

Когда 21-го октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но, отправляя его, генерал, поминая безумный поступок

Пети в Вяземском сражении, где Петя, вместо того чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, — отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого-то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он, с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, — дрянь, немец, что Денисов герой, и эсаул герой, и что Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту.

Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и эсаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и (чтобы не видели дыма французы) разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устроивавшие стол из двери. Петя снял, отдав сушить, свое мокрое платье и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола.

Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью.

Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей.

— Так что же вы думаете, Василий Федорович, — обратился он к Денисову, — ничего, что я с вами останусь на денек? — И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе: — Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю... Только вы меня пустите в самую... в главную... Мне не нужно наград... А мне хочется... — Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой.

— В самую главную... — повторил Денисов, улыбаясь.

— Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал, — продолжал Петя, — ну что вам

стоит? Ах, вам ножик? — обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик.

Офицер похвалил ножик.

— Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких... — покраснев, сказал Петя. — Батюшки! Я и забыл совсем, — вдруг вскрикнул он. — У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркитант новый — и такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите?.. — И Петя побежал в сени к своему казаку, принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. — Кушайте, господа, кушайте.

— А то не нужно ли вам кофейник? — обратился он к эсаулу. — Я у нашего маркитанта купил, чудесный! У него прекрасные вещи. И он честный очень. Это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть еще, у вас вышли, обились кремни, — ведь это бывает. Я взял с собою, у меня вот тут... — он показал на торбы, — сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и все... — И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел.

Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей. И, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминание о французе-барабанщике представилось ему. «Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили его? Не обидели ли?» — подумал он. Но заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся.

«Спросить бы можно, — думал он, — да скажут: сам мальчик и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик! Стыдно будет, если я спрошу? — думал Петя. — Ну, да все равно!» — и тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал:

— А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? дать ему чего-нибудь поесть... может...

— Да, жалкий мальчишка, — сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. — Позвать его сюда. Vincent Bosse его зовут. Позвать.

— Я позову, — сказал Петя.

— Позови, позови. Жалкий мальчишка, — повторил Денисов.

Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову.

— Позвольте вас поцеловать, голубчик, — сказал он. — Ах, как отлично! как хорошо! — И, поцеловав Денисова, он побежал на двор.

— Bosse! Vincent! — прокричал Петя, остановясь у двери.

— Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче.

— А! Весеннего? — сказал казак.

Имя его Vinsent уже переделали: казаки — в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике.

— Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний! — послышались в темноте передающиеся голоса и смех.

— А мальчонок шустрый, — сказал гусар, стоявший подле Пети. — Мы его покормили давеча. Страсть голодный был!

В темноте послышались шаги и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери.

— Ah c'est vous! — сказал Петя. — Voulez-vous manger? N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, — прибавил он, робко и ласково дотрогиваясь до его руки. — Entrez, entrez [1].

— Merci, monsieur [2], — отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее.

— Entrez, entrez, — повторил он только нежным шепотом.

«Ах, что бы мне ему сделать!» — проговорил сам с собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика.

Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомненье, не стыдно ли будет дать их барабанщику.

---

[1] Ах, это вы! Хотите есть? Не бойтесь, вам ничего не сделают. Войдите, войдите.

[2] Благодарю, господин.

VIII

От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, баранины и которого Денисов велел одеть в русский кафтан, с тем, чтобы не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайные храбрость и жестокость Долохова с французами, и потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятой головой, с тем чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов.

Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой.

Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая-чудотворца и в манере говорить, во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, напротив, прежде, в Москве, носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, не здороваясь ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал все, что он знал про положение французского отряда.

— Это так, но надо знать, какие и сколько войск, — сказал Долохов, — надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот, не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь. У меня мундиры с собою.

— Я, я... я поеду с вами! — вскрикнул Петя.

— Совсем и тебе не нужно ездить, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову, — а уж его я ни за что не пущу.

— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя, — отчего же мне не ехать?..

— Да оттого, что незачем.

— Ну, уж вы меня извините, потому что... потому что... я поеду, вот и все. Вы возьмете меня? — обратился он к Долохову.

— Отчего ж... — рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика.

— Давно у тебя молодчик этот? — спросил он у Денисова.

— Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его пг'и себе.

— Ну, а остальных ты куда деваешь? — сказал Долохов.

— Как куда? Отсылаю под г'асписки! — вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. — И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Г'азве тебе тг'удно отослать тг'идцать ли, тг'иста ли человек под конвоем в гог'од, чем маг'ать, я пг'ямо скажу, честь солдата.

— Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, — с холодной усмешкой сказал Долохов, — а тебе-то уж это оставить пора.

— Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, — робко сказал Петя.

— А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, — продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. — Ну этого ты зачем взял к себе? — сказал он, покачивая головой. — Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их и не брать?

Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.

— Это все г'авно, тут г'ассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говог'ишь — помг'ут. Ну, хог'ошо. Только бы не от меня.

Долохов засмеялся.

— Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают — меня и тебя, с твоим рыцарством, все равно на осинку. — Он помолчал. — Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком! У меня два французских мундира. Что ж, едем со мной? — спросил он у Пети.

— Я? Да, да, непременно, — покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова.

Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость; но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают

большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо, — думал он. — А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу».

На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает.

— Потому что, — согласитесь сами, — если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни, и потом мне очень этого хочется, и непременно, непременно поеду, вы уж меня не удержите, — говорил он, — только хуже будет...

IX

Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.

— Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет, — прошептал Петя.

— Не говори по-русски, — быстрым шепотом сказал Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик: «Qui vive?» [1] и звон ружья.

Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.

— Lanciers du sixième [2], — проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту.

— Mot d'ordre? [3] — Долохов придержал лошадь и поехал шагом.

— Dites donc, le colonel Gérard est ici? [4] — сказал он.

— Mot d'ordre! — не отвечая, сказал часовой, загораживая дорогу.

— Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre... — крикнул Долохов, вдруг

---

[1] Кто идет?
[2] Уланы шестого полка.
[3] Отзыв?
[4] Скажи, здесь ли полковник Жерар?

вспыхнув, наезжая лошадью на часового.— Je vous demande si le colonel est ici? [1]

И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору.

Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры? Человек этот, с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Долохова, дотрогиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командир и офицеры были выше на горе, с правой стороны, на дворе фермы (так он называл господскую усадьбу).

Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом.

— Oh, c'est un dur à cuire [2], — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра.

— Il les fera marcher les lapins [3]... — со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми.

— Bonjour, messieurs! [4] — громко, отчетливо выговорил Долохов.

Офицеры зашевелились в тени костра, и один, высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову.

— C'est vous, Clément? — сказал он. — D'où, diable... [5] — но он не докончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о шестом полку. Никто ничего не знал; и Пете

---

[1] Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают отзыва... Я спрашиваю, тут ли полковник?

[2] С этим чертом не сладишь.

[3] Он их проберет...

[4] Здравствуйте, господа!

[5] Это вы, Клеман? Откуда, черт...

показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали.

— Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard [1], — сказал с сдержанным смехом голос из-за костра.

Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше.

Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз: какого он был полка? Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков впереди их.

— Les brigands sont partout [2], — отвечал офицер из-за костра.

Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать, прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил.

«Ну, теперь он уедет», — всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал:

— La vilaine affaire de trainer ces cadavres après soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille [3], — и громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.

«Подадут или нет лошадей?» — думал Петя, невольно приближаясь к Долохову.

Лошадей подали.

---

[1] Если вы рассчитываете на ужин, то вы опоздали.
[2] Эти разбойники везде.
[3] Скверное дело таскать за собой эти трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь.

— Bonjour, messieurs[1], — сказал Долохов.

Петя хотел сказать bonsoir[2] и не мог договорить слова. Офицеры что-то шепотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтоб увидать, бегут или не бегут за ними французы.

Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь.

— Слышишь? — сказал он.

Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки.

— Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, — сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.

— Нет! — вскрикнул он, — вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю.

— Хорошо, хорошо, — сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.

X

Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.

— Слава богу! — крикнул он. — Ну, слава богу! — повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. — И чег'т тебя возьми, из-за тебя не спал! — проговорил Денисов. — Ну, слава богу, тепег'ь ложись спать. Еще вздг'емнем до утг'а.

— Да... Нет, — сказал Петя. — Мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением.

---

[1] Прощайте, господа. — *Ред.*
[2] добрый вечер. — *Ред.*

Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор.

На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и в овраге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали: кое-где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, негромкие, как бы шепчущиеся голоса.

Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.

— Ну, Карабах, завтра послужим, — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.

— Что, барин, не спите? — сказал казак, сидевший под фурой.

— Нет; а... Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. — И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум Лазаря.

— Что же, соснули бы, — сказал казак.

— Нет, я привык, — отвечал Петя. — А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.

Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.

— Оттого, что я привык все делать аккуратно, — сказал Петя. — Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.

— Это точно, — сказал казак.

— Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю; затупи... (но Петя боялся солгать) она никогда отточена не была. Можно это сделать?

— Отчего ж, можно.

Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали о брусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.

— А что же, спят молодцы? — сказал Петя.

— Кто спит, а кто так вот.

— Ну, а мальчик что?

— Весенний-то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад-то был.

Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.

— Что точишь? — спросил человек, подходя к фуре.

— А вот барину наточить саблю.

— Хорошее дело, — сказал человек, который показался Пете гусаром. — У вас, что ли, чашка осталась?

— А вон у колеса.

Гусар взял чашку.

— Небось скоро свет, — проговорил он, зевая, и прошел куда-то.

Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть — глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это — самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев

быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться.

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.

— Ожиг, жиг, ожиг, жиг... — свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

«Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь. — И звуки слушались его. — Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. — И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. — Ну, голоса, приставайте!» — приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.

С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.

Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.

— Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете.

Петя очнулся.

— Уж светает, право, светает! — вскрикнул он.

Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.

— Вот и командир, — сказал Лихачев.

Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.

XI

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало.

— Ну, готово у вас все? — сказал Денисов. — Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

— Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста... ради бога... — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

— Об одном тебя пг'ошу, — сказал он строго, — слушаться меня и никуда не соваться.

Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

— Сигнал! — проговорил он.

Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди, — должно быть, это были французы, — бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

— Ура!.. Ребята... наши... — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слыша-

лись частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» — кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.

— Подождать?.. Ураааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Брать не будем! — крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», — вспомнилось ему. И казаки с удивлением

оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

XII

О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22-го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед; пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше; они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей.

От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени.

Дорога, по которой они шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми; оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны.

Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх.

Эти три сборища, шедшие вместе, — кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, — все еще составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло.

В депо, в котором было сто двадцать повозок сначала, теперь оставалось не больше шестидесяти; остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат-немец, был расстрелян

по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу.

Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли для чего-нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать, — это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними.

В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны.

Прежний, введенный при выходе из Москвы, порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен; все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева.

С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.

В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую,

утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка; что тот человек, который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую; что, когда, он бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что, когда он, как ему казалось, по собственной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запирали на ночь в конюшню. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно было тяжело в первое время — это ноги.

Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них; но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом.

Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.

Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления.

XIII

22-го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех бросаясь с лаем на вороньев, которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных — от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наедаться сколько угодно.

Дождик шел с утра, и казалось, что вот-вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.

Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренно приговаривал: ну-ка, ну-ка, еще, еще наддай.

Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.

Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что-то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.

— Что, как твое здоровье? — спросил он.

— Что здоровье? На болезнь плакаться — бог смерти не даст, — сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.

— ...И вот, братец ты мой, — продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, — вот, братец ты мой...

Пьер знал эту историю давно, Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему-то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.

Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, — как следует по порядку, говорил Каратаев, — сослали на каторгу.

— И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следовает, покоряется, худого не делает. Только у бога смерти просит. — Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные-то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромя что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку — хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, чело-

век этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова́ сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.

Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.

— Старичок и говорит: бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючьми слезьми. Что же думаешь, соколик, — все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, — что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следовает. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. — Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. — А его уж бог простил — помер. Так-то, соколик, — закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.

XIV

— A vos places! [1] — вдруг закричал голос.

Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего-то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которая бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.

---

[1] По местам!

— L'Empereur! L'Empereur! Le maréchal! Le duc! [1] — и только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом, на серых лошадях. Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его.

Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом, погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сошлось вместе, солдаты окружили их. У всех были взволнованно-напряженные лица.

— Qu'est ce qu'il a dit? Qu'est ce qu'il a dit?.. [2] — слышал Пьер.

Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видал еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц — один из них робко взглянул на Пьера — было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на

---

[1] Император! Император! Маршал! Герцог!

[2] Что он сказал? Что? Что?..

казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чем она воет?» — подумал Пьер.

Солдаты-товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах.

XV

Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.

Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.

«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

«Каратаев!» — вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок учитель.

«Как это просто и ясно, — подумал Пьер. — Как я мог не знать этого прежде».

— В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на по-

верхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. — Vous avez compris, mon enfant[1], — сказал учитель.

— Vous avez compris, sacré nom[2], — закричал голос, и Пьер проснулся.

Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.

— Ça lui est bien égal, — проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. — ...brigand. Va![3]

И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем-то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.

— А, пришла? — сказал Пьер. — А, Пла... — начал он и не договорил. В его воображении вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит, но в то же самое мгновенье в его душе, взявшись бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой, летом, на балконе своего киевского дома. И все-таки не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой.

Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы,

[1] Понимаешь ты.
[2] Понимаешь ты, черт тебя дери.
[3] Ему все равно... разбойник, право!

— Les cosaques![1] — прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.

Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.

— Братцы! Родимые мои, голубчики! — плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.

Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.

— Сколько? — спросил Долохов у казака, считавшего пленных.

— На вторую сотню, — отвечал казак.

— Filez, filez[2], — приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.

Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.

XVI

С 28-го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.

---

[1] Казаки!

[2] Проходи, проходи.

От Москвы до Вязьмы из семидесятитрехтысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа), из семидесяти трех тысяч осталось тридцать шесть тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие.

Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, преследования, заграждения пути и всех других условий, взятых отдельно. После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему государю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии). Он писал:

«Je crois devoir faire connaître à Votre Majesté l'état de ses troupes dans les différents corps d'armée que j'ai été à même d'observer depuis deux ou trois jours dans différents passages. Elles sont presque débandées. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est en proportion du quart au plus dans presque tous les régiments, les autres marchent isolément dans différentes directions et pour leur compte, dans l'espérance de trouver des subsistances et pour se débarrasser de la discipline. En général ils regardent Smolensk comme le point où ils doivent se refaire. Ces derniers jours on a remarqué que beaucoup de soldats jettent leurs cartouches et leurs armes. Dans cet état de choses, l'intérêt du service de Votre Majesté exige, quelles que soient ses vues ultérieures qu'on rallie l'armée à Smolensk en commençant à la débarrasser des non-combattans, tels que hommes demontés et des bagages inutiles et du matériel de l'artillerie qui n'est plus en proportion avec les forces actuelles. En outre les jours de repos, des subsistances sont nécessaires aux soldats qui sont exténués par la faim et la fatigue; beaucoup sont morts ces derniers jours sur la route et dans les bivacs. Cet état de choses va toujours en augmentant et donne lieu de craindre que si l'on n'y prête un prompt remède, on ne soit plus maître des troupes dans un combat. Le 9 Novembre, à 30 verstes de Smolensk» [1].

[1] Долгом поставляю донести вашему величеству о состоянии корпусов, осмотренных мною на марше в последние три дня. Они почти в совершенном разброде. Только четвертая часть солдат

Ввалившись в Смоленск, представлявшийся им обетованной землей, французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда все было разграблено, побежали дальше.

Все шли, сами не зная, куда и зачем они идут. Еще менее других знал это гений Наполеона, так как никто ему не приказывал. Но все-таки он и его окружающие соблюдали свои давнишние привычки: писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour;[1] называли друг друга: «Sire, Mon Cousin, Prince d'Ekmuhl, roi de Nâples»[2] и т. д. Но приказы и рапорты были только на бумаге, ничто по ним не исполнялось, потому что не могло исполняться, и, несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла, за которое теперь приходилось расплачиваться. И, несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся об армии, они думали только каждый о себе и о том, как бы поскорее уйти и спастись.

XVII

Действия русского и французского войск во время обратной кампании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит колокольчиком, чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого ловят, звонит, не боясь

остается при знаменах, прочие идут сами по себе разными направлениями, стараясь сыскать пропитание и избавиться от службы. Все думают только о Смоленске, где надеются отдохнуть. В последние дни много солдат побросали патроны и ружья. Какие бы ни были ваши дальнейшие намерения, но польза службы вашего величества требует собрать корпуса в Смоленске и отделить от них спешенных кавалеристов, безоружных, лишние обозы и часть артиллерии, ибо она теперь не в соразмерности с числом войск. Необходимо продовольствие и несколько дней покоя; солдаты изнурены голодом и усталостью; в последние дни многие умерли на дороге и на биваках. Такое бедственное положение беспрестанно усиливается и заставляет опасаться, что, если не будут приняты быстрые меры для предотвращения зла, мы скоро не будем иметь войска в своей власти в случае сражения. 9 ноября, в 30 верстах от Смоленска.

[1] распорядок дня. — *Ред.*

[2] Ваше величество, брат мой, принц Экмюльский, король Неаполитанский. — *Ред.*

неприятеля, но когда ему приходится плохо, он, стараясь неслышно идти, убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки.

Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать — это было в первый период движения по Калужской дороге, но потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, они побежали, прижимая рукой язычок колокольчика, и часто, думая, что они уходят, набегали прямо на русских.

При быстроте бега французов и за ними русских и вследствие того изнурения лошадей, главное средство приблизительного узнавания положения, в котором находится неприятель, — разъезды кавалерии, — не существовало. Кроме того, вследствие частых и быстрых перемен положений обеих армий, сведения, какие и были, не могли поспевать вовремя. Если второго числа приходило известие о том, что армия неприятеля была там-то первого числа, то третьего числа, когда можно было предпринять что-нибудь, уже армия эта сделала два перехода и находилась совсем в другом положении.

Одна армия бежала, другая догоняла. От Смоленска французам предстояло много различных дорог; и, казалось бы, тут, простояв четыре дня, французы могли бы узнать, где неприятель, сообразить что-нибудь выгодное и предпринять что-нибудь новое. Но после четырехдневной остановки толпы их опять побежали не вправо, не влево, но, без всяких маневров и соображений, по старой худшей дороге, на Красное и Оршу — по пробитому следу.

Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали, растянувшись и разделившись друг от друга на двадцать четыре часа расстояния. Впереди всех бежал император, потом короли, потом герцоги. Русская армия, думая, что Наполеон возьмет вправо за Днепр, что было одно разумно, подалась тоже вправо и вышла на большую дорогу к Красному. И тут, как в игре в жмурки, французы наткнулись на наш авангард. Неожиданно увидав врага, французы смешались, приостановились от неожиданности испуга, но потом опять побежали, бросая своих сзади следовавших товарищей. Тут, как сквозь строй русских войск, проходили три дня, одна за одной, отдельные части французов, сначала вице-короля, потом Даву, потом Нея. Все они побросали друг друга, побросали все свои тяже-

сти, артиллерию, половину народа и убегали, только по ночам справа полукругами обходя русских.

Ней, шедший последним (потому что, несмотря на несчастное их положение или именно вследствие его, им хотелось побить тот пол, который ушиб их, он занялся взрыванием никому не мешавших стен Смоленска), — шедший последним, Ней, с своим десятитысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр.

От Орши побежали дальше по дороге к Вильно, точно так же играя в жмурки с преследующей армией. На Березине опять замешались, многие потонули, многие сдались, но те, которые перебрались через реку, побежали дальше. Главный начальник их надел шубу и, сев в сани, поскакал один, оставив своих товарищей. Кто мог — уехал тоже, кто не мог — сдался или умер.

XVIII

Казалось бы, в этой-то кампании бегства французов, когда они делали все то, что только можно было, чтобы погубить себя; когда ни в одном движении этой толпы, начиная от поворота на Калужскую дорогу и до бегства начальника от армии, не было ни малейшего смысла, — казалось бы, в этот период кампании невозможно уже историкам, приписывающим действия масс воле одного человека, описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг написаны историками об этой кампании, и везде описаны распоряжения Наполеона и глубокомысленные его планы — маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов.

Отступление от Малоярославца тогда, когда ему дают дорогу в обильный край и когда ему открыта та параллельная дорога, по которой потом преследовал его Кутузов, ненужное отступление по разоренной дороге объясняется нам по разным глубокомысленным соображениям. По таким же глубокомысленным соображениям описывается его отступление от Смоленска на Оршу. Потом описывается его геройство при Красном, где он будто бы готовится принять сражение и сам командовать, и ходит с березовой палкой и говорит:

— J'ai assez fait l'Empereur, il est temps de faire le général[1], — и, несмотря на то, тотчас же после этого бежит дальше, оставляя на произвол судьбы разрозненные части армии, находящиеся сзади.

Потом описывают нам величие души маршалов, в особенности Нея, величие души, состоящее в том, что он ночью пробрался лесом в обход через Днепр и без знамен и артиллерии и без девяти десятых войска прибежал в Оршу.

И, наконец, последний отъезд великого императора от геройской армии представляется нам историками как что-то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом называемый последней степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание.

Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

— «C'est grand!»[2] — говорят историки, и тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть «grand» и «не grand». Grand — хорошо, не grand — дурно. Grand есть свойство, по их понятиям, каких-то особенных животных, называемых ими героями. И Наполеон, убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей, но (по его мнению) людей, им приведенных сюда, чувствует que c'est grand, и душа его покойна.

«Du sublime (он что-то sublime видит в себе) au ridicule il n'y a qu'un pas», — говорит он. И весь мир пятьдесят лет повторяет: «Sublime! Grand! Napoléon le grand! Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»[3].

И никому в голову не придет, что признание величия,

---

[1] Довольно уже я представлял императора, теперь время быть генералом.

[2] Это величественно!

[3] величественное... От величественного до смешного только один шаг... Величественное! Великое! Наполеон великий! От величественного до смешного только шаг.

неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.

XIX

Кто из русских людей, читая описания последнего периода кампании 1812 года, не испытывал тяжелого чувства досады, неудовлетворенности и неясности. Кто не задавал себе вопросов: как не забрали, не уничтожили всех французов, когда все три армии окружали их в превосходящем числе, когда расстроенные французы, голодая и замерзая, сдавались толпами и когда (как нам рассказывает история) цель русских состояла именно в том, чтобы остановить, отрезать и забрать в плен всех французов.

Каким образом то русское войско, которое, слабее числом французов, дало Бородинское сражение, каким образом это войско, с трех сторон окружавшее французов и имевшее целью их забрать, не достигло своей цели? Неужели такое громадное преимущество перед нами имеют французы, что мы, с превосходными силами окружив, не могли побить их? Каким образом это могло случиться?

История (та, которая называется этим словом), отвечая на эти вопросы, говорит, что это случилось оттого, что Кутузов, и Тормасов, и Чичагов, и тот-то, и тот-то не сделали таких-то и таких-то маневров.

Но отчего они не сделали всех этих маневров? Отчего, ежели они были виноваты в том, что не достигнута была предназначавшаяся цель, — отчего их не судили и не казнили? Но, даже ежели и допустить, что виною *неудачи* русских были Кутузов и Чичагов и т. п., нельзя понять все-таки, почему и в тех условиях, в которых находились русские войска под Красным и под Березиной (в обоих случаях русские были в превосходных силах), почему не взято в плен французское войско с маршалами, королями и императорами, когда в этом состояла цель русских?

Объяснение этого странного явления тем (как то делают русские военные историки), что Кутузов помешал нападению, неосновательно потому, что мы знаем, что

воля Кутузова не могла удержать войска от нападения под Вязьмой и под Тарутиным.

Почему то русское войско, которое с слабейшими силами одержало победу под Бородиным над неприятелем во всей его силе, под Красным и под Березиной в превосходных силах было побеждено расстроенными толпами французов?

Если цель русских состояла в том, чтобы отрезать и взять в плен Наполеона и маршалов, и цель эта не только не была достигнута, и все попытки к достижению этой цели всякий раз были разрушены самым постыдным образом, то последний период кампании совершенно справедливо представляется французами рядом побед и совершенно несправедливо представляется русскими историками победоносным.

Русские военные историки, настолько, насколько для них обязательна логика, невольно приходят к этому заключению и, несмотря на лирические воззвания о мужестве и преданности и т. д., должны невольно признаться, что отступление французов из Москвы есть ряд побед Наполеона и поражений Кутузова.

Но, оставив совершенно в стороне народное самолюбие, чувствуется, что заключение это само в себе заключает противуречие, так как ряд побед французов привел их к совершенному уничтожению, а ряд поражений русских привел их к полному уничтожению врага и очищению своего отечества.

Источник этого противуречия лежит в том, что историками, изучающими события по письмам государей и генералов, по реляциям, рапортам, планам и т. п., предположена ложная, никогда не существовавшая цель последнего периода войны 1812 года, — цель, будто бы состоявшая в том, чтобы отрезать и поймать Наполеона с маршалами и армией.

Цели этой никогда не было и не могло быть, потому что она не имела смысла, и достижение ее было совершенно невозможно.

Цель эта не имела никакого смысла, во-первых, потому, что расстроенная армия Наполеона со всей возможной быстротой бежала из России, то есть исполняла то самое, что мог желать всякий русский. Для чего же было делать различные операции над французами, которые бежали так быстро, как только они могли?

Во-вторых, бессмысленно было становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство.

В-третьих, бессмысленно было терять свои войска для уничтожения французских армий, уничтожавшихся без внешних причин в такой прогрессии, что без всякого загораживания пути они не могли перевести через границу больше того, что они перевели в декабре месяце, то есть одну сотую всего войска.

В-четвертых, бессмысленно было желание взять в плен императора, королей, герцогов — людей, плен которых в высшей степени затруднил бы действия русских, как то признавали самые искусные дипломаты того времени (J. Maistre и другие). Еще бессмысленнее было желание взять корпуса французов, когда свои войска растаяли наполовину до Красного, а к корпусам пленных надо было отделять дивизии конвоя, и когда свои солдаты не всегда получали полный провиант и забранные уже пленные мерли с голода.

Весь глубокомысленный план о том, чтобы отрезать и поймать Наполеона с армией, был подобен тому плану огородника, который, выгоняя из огорода потоптавшую его гряды скотину, забежал бы к воротам и стал бы по голове бить эту скотину. Одно, что можно бы было сказать в оправдание огородника, было бы то, что он очень рассердился. Но это нельзя было даже сказать про составителей проекта, потому что не они пострадали от потоптанных гряд.

Но, кроме того, что отрезывание Наполеона с армией было бессмысленно, оно было невозможно.

Невозможно это было, во-первых, потому, что так как из опыта видно, что движение колонн на пяти верстах в одном сражении никогда не совпадает с планами, то вероятность того, чтобы Чичагов, Кутузов и Витгенштейн сошлись вовремя в назначенное место, была столь ничтожна, что она равнялась невозможности, как то и думал Кутузов, еще при получении плана сказавший, что диверсии на большие расстояния не приносят желаемых результатов.

Во-вторых, невозможно было потому, что, для того чтобы парализировать ту силу инерции, с которой двигалось назад войско Наполеона, надо было без сравнения бóльшие войска, чем те, которые имели русские.

В-третьих, невозможно это было потому, что военное слово отрезать не имеет никакого смысла. Отрезать можно

кусок хлеба, но не армию. Отрезать армию — перегородить ей дорогу — никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой ничего не видно, в чем могли бы убедиться военные ученые хоть из примеров Красного и Березины. Взять же в плен никак нельзя без того, чтобы тот, кого берут в плен, на это не согласился, как нельзя поймать ласточку, хотя и можно взять ее, когда она сядет на руку. Взять в плен можно того, кто сдается, как немцы, по правилам стратегии и тактики. Но французские войска совершенно справедливо не находили этого удобным, так как одинаковая голодная и холодная смерть ожидала их на бегстве и в плену.

В-четвертых же, и главное, это было невозможно потому, что никогда, с тех пор как существует мир, не было войны при тех страшных условиях, при которых она происходила в 1812 году, и русские войска в преследовании французов напрягли все свои силы и не могли сделать большего, не уничтожившись сами.

В движении русской армии от Тарутина до Красного выбыло пятьдесят тысяч больными и отсталыми, то есть число, равное населению большого губернского города. Половина людей выбыла из армии без сражений.

И об этом-то периоде кампании, когда войска без сапог и шуб, с неполным провиантом, без водки, по месяцам ночуют в снегу и при пятнадцати градусах мороза; когда дня только семь и восемь часов, а остальное ночь, во время которой не может быть влияния дисциплины; когда, не так как в сраженье, на несколько часов только люди вводятся в область смерти, где уже нет дисциплины, а когда люди по месяцам живут, всякую минуту борясь с смертью от голода и холода; когда в месяц погибает половина армии, — об этом-то периоде кампании нам рассказывают историки, как Милорадович должен был сделать фланговый марш туда-то, а Тормасов туда-то и как Чичагов должен был передвинуться туда-то (передвинуться выше колена в снегу), и как тот опрокинул и отрезал, и т. д., и т. д.

Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно.

Все это странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории происходит только оттого, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных чувств и слов разных генералов, а не историю событий.

Для них кажутся очень занимательны слова Милорадовича, награды, которые получил тот и этот генерал, и их предположения; а вопрос о тех пятидесяти тысячах, которые остались по госпиталям и могилам, даже не интересует их, потому что не подлежит их изучению.

А между тем стоит только отвернуться от изучения рапортов и генеральных планов, а вникнуть в движение тех сотен тысяч людей, принимавших прямое, непосредственное участие в событии, и все, казавшиеся прежде неразрешимыми, вопросы вдруг с необыкновенной легкостью и простотой получают несомненное разрешение.

Цель отрезывания Наполеона с армией никогда не существовала, кроме как в воображении десятка людей. Она не могла существовать, потому что она была бессмысленна, и достижение ее было невозможно.

Цель народа была одна: очистить свою землю от нашествия. Цель эта достигалась, во-первых, сама собою, так как французы бежали, и потому следовало только не останавливать это движение. Во-вторых, цель эта достигалась действиями народной войны, уничтожавшей французов, и, в-третьих, тем, что большая русская армия шла следом за французами, готовая употребить силу в случае остановки движения французов.

Русская армия должна была действовать, как кнут на бегущее животное. И опытный погонщик знал, что самое выгодное держать кнут поднятым, угрожая им, а не по голове стегать бегущее животное.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что есть он сам, — сущность его, в его глазах очевидно уничтожается — перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый — ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения.

После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все: быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить; еще хуже, слово неискреннего, слабого участия болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновенье открылись перед ними.

Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили,

то о самых незначительных предметах. И та и другая одинаково избегали упоминания о чем-нибудь, имеющем отношение к будущему.

Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства.

Беспрестанные воздержания речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали.

Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, — заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву.

Наташа оставалась одна и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее.

Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок

физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места, и помощь московских врачей.

— Я никуда не поеду, — отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение, — только, пожалуйста, оставьте меня, — сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления.

После того как она почувствовала себя покинутой княжной Марьей и одинокой в своем горе, Наташа большую часть времени, одна в своей комнате, сидела с ногами в углу дивана и, что-нибудь разрывая или переминая своими тонкими, напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло, мучило ее; но оно было для нее необходимо. Как только кто-нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей.

Ей все казалось, что она вот-вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд.

В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери.

Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление.

Она смотрела туда, где она знала, что был он; но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле.

Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны.

Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу вспрыгивает и исчезает мор-

щина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. «Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? Как у него болит!» — думает Наташа. Он заметил ее вниманье, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить.

«Одно ужасно, — сказал он, — это связать себя навеки с страдающим человеком. Это вечное мученье». И он испытующим взглядом — Наташа видела теперь этот взгляд — посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда прежде, чем успела подумать о том, что она отвечает; она сказала: «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы — совсем».

Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.

«Я согласилась, — говорила себе теперь Наташа, — что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это *для меня* ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить — боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь... Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя... тебя... люблю, люблю...» — говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.

И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глаза, но вдруг она спрашивала себя: кому она говорит это? Где он и *кто* он теперь? И опять все засти-

лалось сухим, жестоким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну... Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша.

— Пожалуйте к папаше, скорее, — сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. — Несчастье, о Петре Ильиче... письмо, — всхлипнув, проговорила она.

II

Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их.

«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное», — мысленно сказала себе Наташа.

Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.

— Пе... Петя... Поди, поди, она... она... зовет... — И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.

Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она под-

бежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.

Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.

— Наташу, Наташу!.. — кричала графиня. — Неправда, неправда... Он лжет... Наташу! — кричала она, отталкивая от себя окружающих. — Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха-ха-ха-ха!.. неправда!

Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.

— Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, — шептала она ей, не замолкая ни на секунду.

Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.

— Друг мой, голубушка... маменька, душенька, — не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.

Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.

— Наташа, ты меня любишь, — сказала она тихим, доверчивым шепотом. — Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?

Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.

— Друг мой, маменька, — повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.

И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.

Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.

— Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? — Наташа подошла к ней. — Ты похорошел и возмужал, — продолжала графиня, взяв дочь за руку.

— Маменька, что вы говорите!..

— Наташа, его нет, нет больше! — И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.

III

Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, — говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.

Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни — старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.

Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.

Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.

Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.

Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.

— Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной.

— Ты устала — постарайся заснуть.

— Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит.

— Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, — сказала княжна Марья.

Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи.

«Похожа она на него? — думала Наташа. — Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная».

— Маша, — сказала она, робко притянув к себе ее руку. — Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.

И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.

С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другая была беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.

Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою

мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.

Они всё точно так же никогда не говорили про *него* с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его.

Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда на нее неожиданно находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери красоты, и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем становилось страшно и грустно.

Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой.

Другой раз она позвала Дуняшу, и голос ее задребезжал. Она еще раз кликнула ее, несмотря на то, что она слышала ее шаги, — кликнула тем грудным голосом, которым она певала, и прислушалась к нему.

Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри.

В конце января княжна Марья уехала в Москву, и граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем чтобы посоветоваться с докторами.

IV

После столкновения при Вязьме, где Кутузов не мог удержать свои войска от желания опрокинуть, отрезать и т. д., дальнейшее движение бежавших французов и за ними бежавших русских, до Красного, происходило без сражений. Бегство было так быстро, что бежавшая за французами русская армия не могла поспевать за ними, что лошади в кавалерии и артиллерии становились и что сведения о движении французов были всегда неверны.

Люди русского войска были так измучены этим непрерывным движением по сорок верст в сутки, что не могли двигаться быстрее.

Чтобы понять степень истощения русской армии, надо только ясно понять значение того факта, что, потеряв ранеными и убитыми во все время движения от Тарутина не более пяти тысяч человек, не потеряв сотни людей пленными, армия русская, вышедшая из Тарутина в числе ста тысяч, пришла к Красному в числе пятидесяти тысяч.

Быстрое движение русских за французами действовало на русскую армию точно так же разрушительно, как и бегство французов. Разница была только в том, что русская армия двигалась произвольно, без угрозы погибели, которая висела над французской армией, и в том, что отсталые больные у французов оставались в руках врага, отсталые русские оставались у себя дома. Главная причина уменьшения армии Наполеона была быстрота движения, и несомненным доказательством тому служит соответственное уменьшение русских войск.

Вся деятельность Кутузова, как это было под Тарутиным и под Вязьмой, была направлена только к тому, чтобы, — насколько то было в его власти, — не останавливать этого гибельного для французов движения (как хотели в Петербурге и в армии русские генералы), а содействовать ему и облегчить движение своих войск.

Но, кроме того, со времени выказавшихся в войсках утомления и огромной убыли, происходивших от быстроты движения, еще другая причина представлялась Кутузову для замедления движения войск и для выжидания. Цель русских была — следование за французами. Путь французов был неизвестен, и потому, чем ближе следовали наши войска по пятам французов, тем больше они проходили расстояния. Только следуя в некотором

расстоянии, можно было по кратчайшему пути перерезывать зигзаги, которые делали французы. Все искусные маневры, которые предлагали генералы, выражались в передвижениях войск, в увеличении переходов, а единственно разумная цель состояла в том, чтобы уменьшить эти переходы. И к этой цели во всю кампанию, от Москвы до Вильны, была направлена деятельность Кутузова — не случайно, не временно, но так последовательно, что он ни разу не изменил ей.

Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут и надо выпроводить их; но вместе с тем он чувствовал, заодно с солдатами, всю тяжесть этого, неслыханного по быстроте и времени года, похода.

Но генералам, в особенности не русским, желавшим отличиться, удивить кого-то, забрать в плен для чего-то какого-нибудь герцога или короля, — генералам этим казалось теперь, когда всякое сражение было и гадко и бессмысленно, им казалось, что теперь-то самое время давать сражения и побеждать кого-то. Кутузов только пожимал плечами, когда ему один за другим представляли проекты маневров с теми дурно обутыми, без полушубков, полуголодными солдатами, которые в один месяц, без сражений, растаяли до половины и с которыми, при наилучших условиях продолжающегося бегства, надо было пройти до границы пространство больше того, которое было пройдено.

В особенности это стремление отличиться и маневрировать, опрокидывать и отрезывать проявлялось тогда, когда русские войска наталкивались на войска французов.

Так это случилось под Красным, где думали найти одну из трех колонн французов и наткнулись на самого Наполеона с шестнадцатью тысячами. Несмотря на все средства, употребленные Кутузовым, для того чтобы избавиться от этого пагубного столкновения и чтобы сберечь свои войска, три дня у Красного продолжалось добивание разбитых сборищ французов измученными людьми русской армии.

Толь написал диспозицию: die erste Colonne marschiert[1] и т. д. И, как всегда, сделалось все не по диспо-

[1] первая колонна направится туда-то *(нем.)*. — *Ред.*

зиции. Принц Евгений Виртембергский расстреливал с горы мимо бегущие толпы французов и требовал подкрепления, которое не приходило. Французы, по ночам обегая русских, рассыпались, прятались в леса и пробирались, кто как мог, дальше.

Милорадович, который говорил, что он знать ничего не хочет о хозяйственных делах отряда, которого никогда нельзя было найти, когда его было нужно, «chevalier sans peur et sans reproche» [1], как он сам называл себя, и охотник до разговоров с французами, посылал парламентеров, требуя сдачи, и терял время и делал не то, что ему приказывали.

— Дарю вам, ребята, эту колонну, — говорил он, подъезжая к войскам и указывая кавалеристам на французов. И кавалеристы на худых, ободранных, еле двигающихся лошадях, подгоняя их шпорами и саблями, рысцой, после сильных напряжений, подъезжали к подаренной колонне, то есть к толпе обмороженных, закоченевших и голодных французов; и подаренная колонна кидала оружие и сдавалась, чего ей уже давно хотелось.

Под Красным взяли двадцать шесть тысяч пленных, сотни пушек, какую-то палку, которую называли маршальским жезлом, и спорили о том, кто там отличился, и были этим довольны, но очень сожалели о том, что не взяли Наполеона или хоть какого-нибудь героя, маршала, и упрекали в этом друг друга и в особенности Кутузова.

Люди эти, увлекаемые своими страстями, были слепыми исполнителями только самого печального закона необходимости; но они считали себя героями и воображали, что то, что они делали, было самое достойное и благородное дело. Они обвиняли Кутузова и говорили, что он с самого начала кампании мешал им победить Наполеона, что он думает только об удовлетворении своих страстей и не хотел выходить из Полотняных Заводов, потому что ему там было покойно; что он под Красным остановил движенье только потому, что, узнав о присутствии Наполеона, он совершенно потерялся; что можно предполагать, что он находится в заговоре с Наполеоном, что он подкуплен им [2], и т. д., и т. д.

---

[1] «рыцарь без страха и упрека».
[2] Записки Вильсона.

Мало того, что современники, увлекаемые страстями, говорили так, — потомство и история признали Наполеона grand, а Кутузова: иностранцы — хитрым, развратным, слабым придворным стариком; русские — чем-то неопределенным — какой-то куклой, полезной только по своему русскому имени...

V

В 12-м и 13-м годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной лишивший русские войска славы — полной победы над французами [1].

Такова судьба не великих людей, не grand-homme, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.

Для русских историков — странно и страшно сказать — Наполеон — это ничтожнейшее орудие истории — никогда и нигде, даже в изгнании, не выказавший человеческого достоинства, — Наполеон есть предмет восхищения и восторга; он grand. Кутузов же, тот человек, который от начала и до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу ни одним действием, ни словом не изменяя себе, являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события, — Кутузов представляется им чем-то неопределенным и жалким, и, говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко стыдно.

А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель, более достойную и более совпадающую с волею всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе

---

[1] История 1812 года Богдановича: характеристика Кутузова и рассуждение о неудовлетворительности результатов Красненских сражений.

историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году.

Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Он писал письма своим дочерям и m-me Staël, читал романы, любил общество красивых женщин, шутил с генералами, офицерами и солдатами и никогда не противоречил тем людям, которые хотели ему что-нибудь доказывать. Когда граф Растопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, и сказал: «Как же вы обещали не оставлять Москвы, не дав сраженья?» — Кутузов отвечал: «Я и не оставлю Москвы без сражения», несмотря на то, что Москва была уже оставлена. Когда приехавший к нему от государя Аракчеев сказал, что надо бы Ермолова назначить начальником артиллерии, Кутузов отвечал: «Да, я и сам только что говорил это», — хотя он за минуту говорил совсем другое. Какое дело было ему, одному понимавшему тогда весь громадный смысл события, среди бестолковой толпы, окружавшей его, какое ему дело было до того, к себе или к нему отнесет граф Растопчин бедствие столицы? Еще менее могло занимать его то, кого назначат начальником артиллерии.

Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек, дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные — первые, которые ему приходили в голову.

Но этот самый человек, так пренебрегавший своими словами, ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно, невольно, с тяжелой уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых разнообразных обстоятельствах высказывал свою мысль. Начиная от Бородинского сражения, с которого начался его разлад с окружающими, он один говорил, что *Бородинское сражение есть победа,* и повторял это и изустно, и в рапортах, и донесениях до самой своей смерти. Он один сказал, *что*

потеря Москвы не есть потеря России. Он в ответ Лористону на предложение о мире отвечал, что *мира не может быть, потому что такова воля народа;* он один во время отступления французов говорил, что *все наши маневры не нужны, что все сделается само собой лучше, чем мы того желаем, что неприятелю надо дать золотой мост, что ни Тарутинское, ни Вяземское, ни Красненское сражения не нужны, что с чем-нибудь надо прийти на границу, что за десять французов он не отдаст одного русского.*

И он один, этот придворный человек, как нам изображают его, человек, который лжет Аракчееву с целью угодить государю, — он один, этот придворный человек, в Вильне, тем заслуживая немилость государя, говорит, что *дальнейшая война за границей вредна и бесполезна.*

Но одни слова не доказали бы, что он тогда понимал значение события. Действия его — все без малейшего отступления, все были направлены к одной и той же цели, выражающейся в трех действиях: 1) напрячь все свои силы для столкновения с французами, 2) победить их и 3) изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствия народа и войска.

Он, тот медлитель Кутузов, которого девиз есть терпение и время, враг решительных действий, он дает Бородинское сражение, облекая приготовления к нему в беспримерную торжественность. Он, тот Кутузов, который в Аустерлицком сражении, прежде начала его, говорит, что оно будет проиграно, в Бородине, несмотря на уверения генералов о том, что сражение проиграно, несмотря на неслыханный в истории пример того, что после выигранного сражения войско должно отступать, он один, в противность всем, до самой смерти утверждает, что Бородинское сражение — победа. Он один во все время отступления настаивает на том, чтобы не давать сражений, которые теперь бесполезны, не начинать новой войны и не переходить границ России.

Теперь понять значение события, если только не прилагать к деятельности масс целей, которые были в голове десятка людей, легко, так как все событие с его последствиями лежит перед нами.

Но каким образом тогда этот старый человек, один, в противность мнения всех, мог угадать, так верно угадал тогда значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему?

Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его.

Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями из в немилости находящегося старика выбрать его против воли царя в представители народной войны. И только это чувство поставило его на ту высшую человеческую высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все свои силы не на то, чтоб убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.

Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история.

Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии.

VI

5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не туда, куда надо; после рассылок адъютантов с противуприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира.

День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных (их взято было в этот день семь тысяч). Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные.

Кутузов, казалось, чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Бóльшая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза.

Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата — лицо одного из них было покрыто болячками — разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжавших, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело.

Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат; еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой.

— Что ты говоришь? Что? — спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.

— А, знамена! — сказал Кутузов, видимо с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слóва, смотрели на него.

Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.

— Благодарю всех! — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. — Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки! — Он помолчал, оглядываясь.

— Нагни, нагни ему голову-то, — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев. — Пониже, пониже, так-то вот. Ура! ребята, — быстрым движением подбородка обратясь к солдатам, проговорил он.

— Ура-ра-ра! — заревели тысячи голосов.

Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым, блеском.

— Вот что, братцы, — сказал он, когда замолкли голоса...

И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам.

В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.

— А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома; а они — видите, до чего они дошли, — сказал он, указывая на пленных. — Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?

Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

— А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м... и... в г..., — вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат.

Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержания сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое, то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, — это самое

чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо находясь в сильном волнении.

VII

8-го ноября последний день Красненских сражений; уже смерклось, когда войска пришли на место ночлега. Весь день был тихий, морозный, с падающим легким, редким снегом; к вечеру стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось черно-лиловое звездное небо, и мороз стал усиливаться.

Мушкатерский полк, вышедший из Тарутина в числе трех тысяч, теперь, в числе девятисот человек, пришел одним из первых на назначенное место ночлега, в деревне на большой дороге. Квартиргеры, встретившие полк, объявили, что все избы заняты больными и мертвыми французами, кавалеристами и штабами. Была только одна изба для полкового командира.

Полковой командир подъехал к своей избе. Полк прошел деревню и у крайних изб на дороге поставил ружья в козлы.

Как огромное, многочленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи. Одна часть солдат разбрелась, по колено в снегу, в березовый лес, бывший вправо от деревни, и тотчас же послышались в лесу стук топоров, тесаков, треск ломающихся сучьев и веселые голоса; другая часть возилась около центра полковых повозок и лошадей, поставленных в кучку, доставая котлы, сухари и задавая корм лошадям; третья часть рассыпалась в деревне, устраивая помещения штабным, выбирая мертвые тела французов, лежавшие по избам, и растаскивая доски, сухие дрова и солому с крыш для костров и плетни для защиты.

Человек пятнадцать солдат за избами, с края деревни, с веселым криком раскачивали высокий плетень сарая, с которого снята уже была крыша.

— Ну, ну, разом, налегни! — кричали голоса, и в темноте ночи раскачивалось с морозным треском огромное, запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и, наконец, плетень завалился вме-

сте с солдатами, напиравшими на него. Послышался громкий грубо-радостный крик и хохот.

— Берись по двое! рочаг подавай сюда! вот так-то. Куда лезешь-то?

— Ну, разом... Да стой, ребята!.. С накрика!

Все замолкли, и негромкий, бархатно-приятный голос запел песню. В конце третьей строфы, враз с окончанием последнего звука, двадцать голосов дружно вскрикнули: «Уууу! Идет! Разом! Навались, детки!..» Но, несмотря на дружные усилия, плетень мало тронулся, и в установившемся молчании слышалось тяжелое пыхтенье.

— Эй вы, шестой роты! Черти, дьяволы! Подсоби... тоже мы пригодимся.

Шестой роты человек двадцать, шедшие в деревню, присоединились к тащившим; и плетень, саженей в пять длины и в сажень ширины, изогнувшись, надавя и режа плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни.

— Иди, что ли... Падай, эка... Чего стал? То-то...

Веселые, безобразные ругательства не замолкали.

— Вы чего? — вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих.

— Господа тут; в избе сам анарал, а вы, черти, дьяволы, матершинники. Я вас! — крикнул фельдфебель и с размаху ударил в спину первого подвернувшегося солдата. — Разве тихо нельзя?

Солдаты замолкли. Солдат, которого ударил фельдфебель, стал, покряхтывая, обтирать лицо, которое он в кровь разодрал, наткнувшись на плетень.

— Вишь, черт, дерется как! Аж всю морду раскровянил, — сказал он робким шепотом, когда отошел фельдфебель.

— Али не любишь? — сказал смеющийся голос; и, умеряя звуки голосов, солдаты пошли дальше. Выбравшись за деревню, они опять заговорили так же громко, пересыпая разговор теми же бесцельными ругательствами.

В избе, мимо которой проходили солдаты, собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице-короля и захватить его.

Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял

снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу пространству.

Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниция.

Притащенный плетень осьмою ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров — кто чиня обувь, кто куря трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей.

VIII

Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, — без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, — казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.

Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска — по силе духа и тела.

К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.

— Эй, Макеев, что ж ты .... запропал или тебя волки съели? Неси дров-то, — кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. — Поди хоть ты, ворона, неси дров, — обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер-офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.

— Давай сюда. Во важно-то!

Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.

— Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера... — припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.

— Эй, подметки отлетят! — крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. — Экой яд плясать!

Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.

— И то, брат, — сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. — С пару зашлись, — прибавил он, вытягивая ноги к огню.

— Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до конца, тогда всем по двойному товару.

— А вишь, сукин сын Петров, отстал-таки, — сказал фельдфебель.

— Я его давно замечал, — сказал другой.

— Да что, солдатенок...

— А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.

— Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?

— Э, пустое болтать! — сказал фельдфебель.

— Али и тебе хочется того же? — сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.

— А ты что же думаешь? — вдруг приподнявшись из-за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. — Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мо́чи моей нет, — сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, — вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь...

— Ну буде, буде, — спокойно сказал фельдфебель.

Солдатик замолчал, и разговор продолжался.

— Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, — начал один из солдат новый разговор.

— Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, — сказал

плясун. — Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что-то по-своему.

— А чистый народ, ребята, — сказал первый. — Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.

— А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.

— А ничего не знают по-нашему, — с улыбкой недоумения сказал плясун. — Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!

— Ведь то мудрено, братцы мои, — продолжал тот, который удивлялся их белизне, — сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья-то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние-то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний-то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.

— Что ж, от холода, что ль? — спросил один.

— Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим: мóчи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.

Все помолчали.

— Должнó, от пищи, — сказал фельдфебель, — господскую пищу жрали.

Никто не возражал.

— Сказывал мужик-то этот, под Можайским; где страженья-то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых-то. Волкóв этих что, говорит...

— Та страженья была настоящая, — сказал старый солдат. — Только и было чем помянуть; а то всё после того... Так, только народу мученье.

— И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон — говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона-то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет-возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.

— Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.

— Какое врать, правда истинная.

— А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да

в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.

— Все одно конец сделаем, не будет ходить, — зевая, сказал старый солдат.

Разговор замолк, солдаты стали укладываться.

— Вишь, звезды-то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, — сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.

— Это, ребята, к урожайному году.

— Дровец-то еще надо будет.

— Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.

— О, господи!

— Что толкаешься-то, — про тебя одного огонь, что ли? Вишь... развалился.

Из-за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.

— Вишь, грохочат в пятой роте, — сказал один солдат. — И народу что — страсть!

Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.

— То-то смеху, — сказал он, возвращаясь. — Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.

— О-о? пойти посмотреть... — Несколько солдат направились к пятой роте.

IX

Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.

В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.

— Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, державшиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.

Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький,

коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что-то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.

Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.

Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что-то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.

— Что? Не будешь? — насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.

— Э, дурак! Что врешь нескладно! То-то мужик, право, мужик, — послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:

— Oh, mes braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voilà des hommes! oh, mes braves, mes bons amis! [1] — и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.

Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.

Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по-бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.

---

[1] О молодцы! О мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О мои добрые друзья!

— Ну-ка, ну-ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. — говорил шутник-песенник, которого обнимал Морель.

Vive Henri Quatre,
Vive ce roi vaillant! [1] —

пропел Морель, подмигивая глазом.

Ce diable à quatre...

— Виварика! Виф серувару! сидябляка́... — повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.

— Вишь, ловко! Го-го-го-го-го!.. — поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.

— Ну, валяй еще, еще!

Qui eut le triple talent,
De boire, de battre,
Et d'être un vert galant... [2]

— А ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..

— Кю... — с усилием выговорил Залетаев. — Кью-ю-ю... — вытянул он, старательно оттопырив губы, — летриптала, де бу де ба и детравагала, — пропел он.

— Ай, важно! Вот так хранцуз! ой... го-го-го-го! — Что ж, еще есть хочешь?

— Дай ему каши-то; ведь не скоро наестся с голоду-то.

Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.

— Тоже люди, — сказал один из них, уворачиваясь в шинель. — И полынь на своем кореню растет.

— Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу... — И все затихло.

Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между собой.

---

[1] Да здравствует Генрих Четвертый! Да здравствует сей храбрый король! и т. д. *(французская песня).*

[2] Имевший тройной талант, пить, драться и быть любезником... — *Ред.*

X

Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.

Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, — только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, — все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.

Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе

удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, — гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.

Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.

Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.

Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.

В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:

«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».

Но вслед за отсылкой Бенигсена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь император сам на днях намеревался прибыть к армии.

Старый человек, столь же опытный в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью, в противность воле государя, предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И не по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, — кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха.

29 ноября Кутузов въехал в Вильно — в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось.

Чичагов, один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный своею смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому что, когда он был послан в 11-м году для заключения мира с Турцией помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову; этот-то Чичагов первый встретил Кутузова в Вильне у за́мка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов в флотском вицмундире, с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно-почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, взводимые на Кутузова.

Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему.

— C'est pour me dire que je n'ai pas sur quoi manger... Je puis au contraire vous fournir de tout dans le cas même ou vous voudriez donner des dîners [1], — вспыхнув, проговорил Чичагов, каждым словом своим желавший доказать свою правоту и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой, проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал: — Ce n'est que pour vous dire ce que je vous dis [2].

В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил бо́льшую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни.

Выехав с своей свитой — графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7-го декабря из Петербурга, государь 11-го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к за́мку. У за́мка,

---

[1] Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть. Напротив, могу вам служить всем, даже если бы вы захотели давать обеды.

[2] Я хочу сказать только то, что говорю.

несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.

Курьер, подскакавший к за́мку на потной тройке, впереди государя, прокричал: «Едет!» Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке.

Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт.

Беготня, шепот, еще отчаянно пролетевшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского.

Все это по пятидесятилетней привычке физически тревожно подействовало на старого генерала; он озабоченно торопливо ощупал себя, поправил шляпу и враз, в ту минуту как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом.

Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова: он всхлипнул.

Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз за руку старика, пошел с ним в за́мок.

Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице.

Когда Кутузов вышел из кабинета и своей тяжелой, ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей-то голос остановил его.

— Ваша светлость, — сказал кто-то.

Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который, с какой-то маленькою вещицей на серебряном блюде, стоял перед ним. Кутузов, казалось, не понимал, чего от него хотели.

Вдруг он как будто вспомнил: чуть заметная улыбка мелькнула на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял предмет, лежавший на блюде. Это был Георгий 1-й степени.

XI

На другой день были у фельдмаршала обед и бал, которые государь удостоил своим присутствием. Кутузову пожалован Георгий 1-й степени; государь оказывал ему высочайшие почести; но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого; но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов, по старой екатерининской привычке, при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: «старый комедиант».

Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании.

Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу», — все уже тогда поняли, что война не кончена.

Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом положении населений, о возможности неудач и т. п.

При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны.

Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть изпод главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю.

С этой целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов — получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем.

Ему надо было быть слабым здоровьем, для того чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно, здоровье его было слабо.

Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель.

Война 1812-го года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое — европейское.

За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.

Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.

Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.

XII

Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел.

Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое-нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать все то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы,— Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.

Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто

не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.

Радостное чувство свободы — той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.

— Ах, как хорошо! Как славно! — говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. — Ах, как хорошо, как славно! — И по старой привычке он делал себе вопрос: ну, а потом что? что я буду делать? И тотчас же он отвечал себе: ничего. Буду жить. Ах, как славно!

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже говорила нянюшка: что бог вот он, тут везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое

у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.

Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в тумане дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос — зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.

XIII

Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем-то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего-то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед

ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям — вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.

Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.

Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, сухой и по-своему гордой княжне человеческие чувства.

— Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, — говорила себе княжна.

Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена посвоему и его слугами — Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин

в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.

— Ну, так скажи мне... да как же вы доставали себе еду? — спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.

Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.

— Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, — говорил он.

В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.

Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.

Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.

— Ежели все русские хотя немного похожи на вас, — говорил он Пьеру, — c'est un sacrilège que de faire la guerre à un peuple comme le vôtre [1]. Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.

И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.

Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон — граф Вилларский, — тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.

---

[1] Это кощунство — воевать с таким народом, как вы.

Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.

Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.

— Vous vous encroûtez, mon cher [1], — говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.

Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.

В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.

В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в осо-

---

[1] Вы запускаетесь, мой милый.

бенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» — спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой — иначе.

Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким-то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.

Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.

В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменившихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главноуправляющего, около двух миллионов.

Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной,

которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.

— Да, да, это правда, — сказал Пьер, весело улыбаясь. — Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.

Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.

Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.

Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне — все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

XIV

Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в коч-

ку — для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, — так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого.

Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью — дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем — это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.

Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12-го года.

Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили в других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.

Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.

Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его

различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары — большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.

Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.

Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый — кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, — домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики — с разных сторон, как кровь к сердцу, — приливали к Москве.

Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые

у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.

XV

В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем-нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, — важные или самые ничтожные, — отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли он свезти ящичек? — он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.

О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.

На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.

Доро́гой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.

«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» — думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал

сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.

В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.

— Доложи; может быть, примут, — сказал Пьер.

— Слушаю-с, — отвечал официант, — пожалуйте в портретную.

Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.

В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», — подумал он, взглянув на даму в черном платье.

Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.

— Да, — сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, — вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, — сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.

— Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. — Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что-то сказать; но Пьер перебил ее.

— Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, — сказал он. — Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым... Какая судьба!

Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто

бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье — милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.

Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:

— Вы не узнаете разве?

Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что-то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.

«Но нет, это не может быть, — подумал он. — Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, — улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.

В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее — яснее, чем самыми определенными словами, — он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.

«Нет, это так, от неожиданности», — подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.

Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка

радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально-вопросительные.

Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.

XVI

— Она приехала гостить ко мне, — сказала княжна Марья. — Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.

— Да, есть ли семья без своего горя? — сказал Пьер, обращаясь к Наташе. — Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик!

Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.

— Что можно сказать или подумать в утешенье? — сказал Пьер. — Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?

— Да, в наше время трудно жить бы было без веры... — сказала княжна Марья.

— Да, да. Вот это истинная правда, — поспешно перебил Пьер.

— Отчего? — спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.

— Как отчего? — сказала княжна Марья. — Одна мысль о том, что ждет там...

Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.

— И оттого, — продолжал Пьер, — что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и... ваша, — сказал Пьер.

Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что-то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который

дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.

Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.

— Да, да, так, так... — говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. — Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного: быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, — если они были, — происходили не от него. Так он смягчился? — говорил Пьер. — Какое счастье, что он, свиделся с вами, — сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.

Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?

— Да, это было счастье, — сказала она тихим грудным голосом, — для меня наверное это было счастье. — Она помолчала. — И он... он... он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему... — Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленях и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:

— Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, — говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала: все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославле.

Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она

рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.

Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.

Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.

Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.

За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.

— Да вот и все, все... — сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты.

Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире.

Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату.

Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.

— Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа; пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Подите вниз; мы сейчас придем.

Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему:

— Это в первый раз она так говорила о нем.

XVII

Пьера провели в освещенную большую столовую; через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строгое, без улыбки, выражение теперь опять установилось на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьер одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно; говорить о пустяках — совестно, а молчать неприятно,

потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули и пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. Обе, очевидно, в то же время решились на то же: у обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что, кроме горя, есть и радости.

— Вы пьете водку, граф? — сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего.

— Расскажите же про себя, — сказала княжна Марья. — Про вас рассказывают такие невероятные чудеса.

— Да, — с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер. — Мне самому даже рассказывают про такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось или должно было случиться. Степан Степаныч тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще я заметил, что быть интересным человеком очень покойно (я теперь интересный человек); меня зовут и мне рассказывают.

Наташа улыбнулась и хотела что-то сказать.

— Нам рассказывали, — перебила ее княжна Марья,— что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это?

— А я стал втрое богаче, — сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.

— Что я выиграл несомненно, — сказал он, — так это свободу... — начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора.

— А вы строитесь?

— Да, Савельич велит.

— Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве? — сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен, она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели.

— Нет, — отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Марья его упоминанию о своей свободе. — Я узнал это в Орле, и вы не можете себе представить, как меня это поразило, Мы не

были примерные супруги, — сказал он быстро, взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене. — Но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть... без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль ее, — кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи.

— Да, вот вы опять холостяк и жених, — сказала княжна Марья.

Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось.

— Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали? — сказала княжна Марья.

Пьер засмеялся.

— Ни разу, никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену — значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе.

Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ.

— Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? — спросила его Наташа, слегка улыбаясь. — Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни: помните?

Пьер признался, что это была правда, и с этого вопроса, понемногу руководимый вопросами княжны Марьи и в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях.

Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя; но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он, сам того не замечая, увлекся и стал говорить с сдержанным волнением человека, в воспоминании переживающего сильные впечатления.

Княжна Марья с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом,

выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной, за защиту которых он был взят, Пьер рассказывал таким образом:

— Это было ужасное зрелище, дети брошены, некоторые в огне... При мне вытащили ребенка... женщины, с которых стаскивали вещи, вырывали серьги...

Пьер покраснел и замялся.

— Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали. И меня.

— Вы, верно, не все рассказываете; вы, верно, сделали что-нибудь... — сказала Наташа и помолчала, — хорошее.

Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности; но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал.

Пьер начал было рассказывать про Каратаева (он уже встал из-за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами) и остановился.

— Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека — дурачка.

— Нет, нет, говорите, — сказала Наташа. — Он где же?

— Его убили почти при мне. — И Пьер стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева (голос его дрожал беспрестанно) и его смерть.

Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, — не *умные* женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслажденье, которое дают

настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагиванья мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера.

Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему, но она теперь видела другое, что поглощало все ее внимание; она видела возможность любви и счастия между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостию.

Было три часа ночи. Официанты с грустными и строгими лицами приходили переменять свечи, но никто не замечал их.

Пьер кончил свой рассказ. Наташа блестящими, оживленными глазами продолжала упорно и внимательно глядеть на Пьера, как будто желая понять еще то остальное, что он не высказал, может быть. Пьер в стыдливом и счастливом смущении изредка взглядывал на нее и придумывал, что бы сказать теперь, чтобы перевести разговор на другой предмет. Княжна Марья молчала. Никому в голову не приходило, что три часа ночи и что пора спать.

— Говорят: несчастия, страдания, — сказал Пьер. — Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю, — сказал он, обращаясь к Наташе.

— Да, да, — сказала она, отвечая на совсем другое, — и я ничего бы не желала, как только пережить все сначала.

Пьер внимательно посмотрел на нее.

— Да, и больше ничего, — подтвердила Наташа.

— Неправда, неправда, — закричал Пьер. — Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже.

Вдруг Наташа опустила голову на руки и заплакала.

— Что ты, Наташа? — сказала княжна Марья.

— Ничего, ничего. — Она улыбнулась сквозь слезы Пьеру. — Прощайте, пора спать.

Пьер встал и простился.

Княжна Марья и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они говорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Марья не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем.

— Ну, прощай, Мари, — сказала Наташа. — Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о *нем* (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем.

Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней.

— Разве можно забыть? — сказала она.

— Мне так хорошо было нынче рассказать все; и тяжело, и больно, и хорошо. Очень хорошо, — сказала Наташа, — я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему... ничего, что я рассказала ему? — вдруг покраснев, спросила она.

— Пьеру? О нет! Какой он прекрасный, — сказала княжна Марья.

— Знаешь, Мари, — вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице. — Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? — морально из бани. Правда?

— Да, — сказала княжна Марья, — он много выиграл.

— И сюртучок коротенький, и стриженые волосы; точно, ну точно из бани... папа, бывало...

— Я понимаю, что *он* (князь Андрей) никого так не любил, как его, — сказала княжна Марья.

— Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем?

— Да, и чудесный.

— Ну, прощай, — отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.

XVIII

Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что-то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь.

Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал

себя за это. Было уже шесть часов утра, а он все ходил по комнате.

«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, так надо», — сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей.

«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, — надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», — сказал он себе.

Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся, в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу.

«Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? — невольно, хотя и про себя спросил он. — Да, что-то такое давно, давно, еще прежде, чем это случилось, я зачем-то собирался ехать в Петербург, — вспомнил он. — Отчего же? я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит! — подумал он, глядя на старое лицо Савельича. — И какая улыбка приятная!» — подумал он.

— Что ж, все не хочешь на волю, Савельич? — спросил Пьер.

— Зачем мне, ваше сиятельство, воля? При покойном графе, царство небесное, жили и при вас обиды не видим.

— Ну, а дети?

— И дети проживут, ваше сиятельство: за такими господами жить можно.

— Ну, а наследники мои? — сказал Пьер. — Вдруг я женюсь... Ведь может случиться, — прибавил он с невольной улыбкой.

— И осмеливаюсь доложить: хорошее дело, ваше сиятельство.

«Как он думает это легко, — подумал Пьер. — Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно... Страшно!»

— Как же изволите приказать? Завтра изволите ехать? — спросил Савельич.

— Нет; я немножко отложу. Я тогда скажу. Ты меня извини за хлопоты, — сказал Пьер и, глядя на улыбку Савельича, подумал: «Как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга и что прежде всего надо, чтоб решилось то. Впрочем, он, верно, знает, но только притворяется. Поговорить с ним? Как

он думает? — подумал Пьер. — Нет, после когда-нибудь».

За завтраком Пьер сообщил княжне, что он был вчера у княжны Марьи и застал там, — можете себе представить кого? — Натали Ростову.

Княжна сделала вид, что она в этом известии не видит ничего более необыкновенного, как в том, что Пьер видел Анну Семеновну.

— Вы ее знаете? — спросил Пьер.

— Я видела княжну, — отвечала она. — Я слышала, что ее сватали за молодого Ростова. Это было бы очень хорошо для Ростовых; говорят, они совсем разорились.

— Нет, Ростову вы знаете?

— Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.

«Нет, она не понимает или притворяется, — подумал Пьер. — Лучше тоже не говорить ей».

Княжна также приготавливала провизию на дорогу Пьеру.

«Как они добры все, — думал Пьер, — что они теперь, когда уж наверное им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня; вот что удивительно».

В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в Грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам.

«Вот и этот тоже, — думал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера, — какой славный, красивый офицер и как добр! *Теперь* занимается такими пустяками. А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор! А впрочем, отчего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан. И все так делают. А такое приятное, доброе лицо, и улыбается, глядя на меня».

Пьер поехал обедать к княжне Марье.

Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга, по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера и говорили как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого».

При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера,

виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал. Может быть, я войду и никого не увижу». Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если б она была такою вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее.

Она была такою же, какою он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый вопросительный блеск светился в ее глазах; на лице было ласковое и странно-шаловливое выражение.

Пьер обедал и просидел бы весь вечер; но княжна Марья ехала ко всенощной, и Пьер уехал с ними вместе.

На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были очевидно рады гостю; несмотря на то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они всё переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что *не мог* подняться и уйти.

Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться.

— Так вы завтра едете в Петербург? — сказала она.

— Нет, я не еду, — с удивлением и как будто обидясь, поспешно сказал Пьер. — Да нет, в Петербург? Завтра; только я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, — сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя.

Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.

Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.

— Да, я и хотел сказать вам, — сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. — Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу... я не могу...

Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.

— Ну, вот, — продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. — Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность... возможность... ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, — сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.

— Я думаю о том, что вы мне сказали, — отвечала княжна Марья. — Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви... — Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.

— Говорить ей теперь... нельзя, — все-таки сказала княжна Марья.

— Но что же мне делать?

— Поручите это мне, — сказала княжна Марья. — Я знаю...

Пьер смотрел в глаза княжне Марье.

— Ну, ну... — говорил он.

— Я знаю, что она любит... полюбит вас, — поправилась княжна Марья.

Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.

— Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!

— Да, думаю, — улыбаясь, сказала княжна Марья. — Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.

— Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть... Как я счастлив! Нет, не может быть! — говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.

— Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, — сказала она.

— В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?

На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», — говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.

Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.

«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, как я сам для себя? Нет, это невозможно!..»

— Прощайте, граф, — сказала она ему громко. — Я очень буду ждать вас, — прибавила она шепотом.

И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас... Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» — говорил себе Пьер.

XIX

В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.

Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда «je vous aime»?[1] Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо

[1] я люблю вас.

ли, или дурно то, что он предпринял, — теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».

Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.

Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним — его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастье. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как-нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.

Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие-нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого-то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, — все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.

Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.

Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Может быть, — думал он, — я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда-либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.

XX

С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно-насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.

Все: лицо, походка, взгляд, голос — все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой — сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажи-

гался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.

Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», — думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.

Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.

Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.

— Он сказал? Да? Он сказал? — повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.

— Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.

Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.

«Но что же делать! она не может иначе», — подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.

— В Петербург? — повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. — Мари, — сказала она, — научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня...

— Ты любишь его?

— Да, — прошептала Наташа.

— О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, — сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.

— Это будет не скоро, когда-нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.

— Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.

Они помолчали.

— Только для чего же в Петербург! — вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: — Нет, нет, это так надо... Да, Мари? Так надо...

ЭПИЛОГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Прошло семь лет после 12-го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.

Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.

Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами...

Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.

Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют *реакцией,* историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m-me Staël, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они *прогрессу* или *реакции.*

В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I — тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России.

В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования.

«Он должен был поступить так-то и так-то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12-го года; но он поступил дурно, дав конституцию Польше, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии; он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк, и т. д.».

Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают.

Что значат эти упреки?

Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, — как-то: либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12-м году, и поход 13-го года, не вытекают ли из одних и тех же источников — условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, — из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как-то: Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20-х годов?

В чем же состоит сущность этих упреков?

В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей; лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влияниям интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью; лицо, чувствовавшее на себе, всякую минуту своей жизни, ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, — что это лицо, пять-

десят лет тому назад, не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.

Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.

Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому-нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12-м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение — прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, еще другие, более общие и недоступные мне цели.

Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.

Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той

программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, — с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.

Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни.

II

Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о *случае* и о *гении*.

Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель — величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель — распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель — прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.

Почему же это случилось так, а не иначе?

Потому что это так случилось. «*Случай* сделал положение; *гений* воспользовался им», — говорит история.

Но что такое *случай*? Что такое *гений*?

Слова *случай* и *гений* не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое-то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: *случай*. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами

действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: *гений.*

Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.

Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, — и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о *случае,* ни о *гении.*

Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова *случай* и *гений.*

Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и *гениальность* в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять *случайностию* тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.

Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета

и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.

III

Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.

И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.

Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.

Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей со-

путствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.

По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.

Тот идеал *славы* и *величия,* состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, — этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его,

свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.

Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.

Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, — он один может оправдать то, что имеет совершиться.

Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладение властью, и заговор увенчивается успехом.

Его вталкивают в заседание правителей. Испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим; притворяется, что падает в обморок; говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграна, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно бы было говорить, для того чтоб удержать власть и погубить его.

Случайность, миллионы *случайностей* дают ему власть, и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. *Случайности* делают характеры тогдашних правителей Франции, подчиняющимися ему; *случайности* делают характер Павла I, признающего его власть; *случайность* делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. *Случайность* посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу. *Случайность* делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила бы его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. *Случайность* и *гениальность* дают ему победу под Аустерлицем, и *случайно* все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая и не примет участия в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы,

который кажется всем чем-то прекрасным и разумным.

Как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы запада несколько раз в 1805-м, 6-м, 7-м, 9-м году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811-м году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу *славы* и *величия,* не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим, они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека; император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, — это празднование Иены и Ауерштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы.

Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели — Москвы. Столица взята; русское войско более уничтожено, чем когда-нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. Но вдруг вместо тех *случайностей* и *гениальности,* которые так последовательно вели его до сих пор непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных *случайностей,* от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву; и вместо *гениальности* являются глупость и подлость, не имеющие примеров.

Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него.

Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805—1807—1809 годах предшествуют большому движению; то же сцепление в группу огромных размеров; то же приставание серединных народов к движению; то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели.

Париж — крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла; все действия его очевидно жалки и гадки; но опять совершается необъяснимая случайность: союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий; лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им десять лет тому назад и год после, — разбойником вне закона. Но по какой-то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого десять лет тому назад и год после считали разбойником вне закона, посылают в два дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение с гвардией и миллионами, которые платят ему за что-то.

IV

Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затишье движения.

Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они, их несогласия, причиной этого нового напора сил; они ждут войны между своими государями; положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна, с той же исходной точки движения — Парижа. Совершается последний отплеск движения с запада; отплеск, который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические за-

труднения и положить конец воинственному движению этого периода.

Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его; но, по странной случайности, никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц.

Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия.

Действие совершено. Последняя роль сыграна. Актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяны: он больше не понадобится.

И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиночестве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им.

Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам.

— Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а Я двигал вас?

Но, ослепленные силой движения, люди долго не понимали этого.

Еще бо́льшую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра I, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад.

Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад?

Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами — государями того времени; нужна кроткая и привлекательная личность; нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I; все это подготовлено бесчисленными так называемыми *случайностями* всей его прошедшей жизни: и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и Аустерлицем, и Тильзитом, и Эрфуртом.

Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент

является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели.

Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее?

Александр I, умиротворитель Европы, человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские и лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр I, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку божию, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только:

— «Не нам, не нам, а имени твоему!» Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить, как человека, и думать о своей душе и о боге.

Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку по огромности целого, — так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим.

Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль и приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливанья молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпы-

вается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели.

Человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями жизни. То же с целями исторических лиц и народов.

V

Свадьба Наташи, вышедшей в 13-м году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых. В тот же год граф Илья Андреевич умер, и, как это всегда бывает, со смертью его распалась старая семья.

События последнего года: пожар Москвы и бегство из нее, смерть князя Андрея и отчаяние Наташи, смерть Пети, горе графини — все это, как удар за ударом, падало на голову старого графа. Он, казалось, не понимал и чувствовал себя не в силах понять значение всех этих событий и, нравственно согнув свою старую голову, как будто ожидал и просил новых ударов, которые бы его покончили. Он казался то испуганным и растерянным, то неестественно оживленным и предприимчивым.

Свадьба Наташи на время заняла его своей внешней стороной. Он заказывал обеды, ужины и, видимо, хотел казаться веселым; но веселье его не сообщалось, как прежде, а, напротив, возбуждало сострадание в людях, знавших и любивших его.

После отъезда Пьера с женой он затих и стал жаловаться на тоску. Через несколько дней он заболел и слег в постель. С первых дней его болезни, несмотря на утешения докторов, он понял, что ему не вставать. Графиня, не раздеваясь, две недели провела в кресле у его изголовья. Всякий раз, как она давала ему лекарство, он, всхлипывая, молча целовал ее руку. В последний день он, рыдая, просил прощения у жены и заочно у сына за разорение именья — главную вину, которую он за собой чувствовал. Причастившись и особоровавшись, он тихо умер, и на другой день толпа знакомых, приехавших отдать последний долг покойнику, наполняла наемную квартиру Ростовых. Все эти знакомые, столько раз обедавшие и танцевавшие у него, столько раз смеявшиеся над ним, теперь все с одинаковым чувством внутреннего

упрека и умиления, как бы оправдываясь перед кем-то, говорили: «Да, там как бы то ни было, а прекраснейший был человек. Таких людей нынче уж не встретишь... А у кого ж нет своих слабостей?..»

Именно в то время, когда дела графа так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер.

Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностию суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения.

Родные и друзья советовали Николаю отказаться от наследства. Но Николай в отказе от наследства видел выражение укора священной для него памяти отца и потому не хотел слышать об отказе и принял наследство с обязательством уплаты долгов.

Кредиторы, так долго молчавшие, будучи связаны при жизни графа тем неопределенным, но могучим влиянием, которое имела на них его распущенная доброта, вдруг все подали ко взысканию. Явилось, как это всегда бывает, соревнование — кто прежде получит, — и те самые люди, которые, как Митенька и другие, имели безденежные векселя — подарки, явились теперь самыми требовательными кредиторами. Николаю не давали ни срока, ни отдыха, и те, которые, по-видимому, жалели старика, бывшего виновником их потери (если были потери), теперь безжалостно накинулись на очевидно невинного перед ними молодого наследника, добровольно взявшего на себя уплату.

Ни один из предполагаемых Николаем оборотов не удался; имение с молотка было продано за полцены, а половина долгов оставалась все-таки не уплаченною. Николай взял предложенные ему зятем Безуховым тридцать тысяч для уплаты той части долгов, которые он признавал за денежные, настоящие долги. А чтобы за оставшиеся долги не быть посаженным в яму, чем ему угрожали кредиторы, он снова поступил на службу.

Ехать в армию, где он был на первой вакансии полкового командира, нельзя было потому, что мать теперь держалась за сына, как за последнюю приманку жизни;

и потому, несмотря на нежелание оставаться в Москве в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире, на Сивцевом Вражке.

Наташа и Пьер жили в это время в Петербурге, не имея ясного понятия о положении Николая. Николай, заняв у зятя деньги, старался скрыть от него свое бедственное положение. Положение Николая было особенно дурно потому, что своими тысячью двумястами рублями жалованья он не только должен был содержать себя, Соню и мать, но он должен был содержать мать так, чтобы она не замечала, что они бедны. Графиня не могла понять возможности жизни без привычных ей с детства условий роскоши и беспрестанно, не понимая того, как это трудно было для сына, требовала то экипажа, которого у них не было, чтобы послать за знакомой, то дорогого кушанья для себя и вина для сына, то денег, чтобы сделать подарок-сюрприз Наташе, Соне и тому же Николаю.

Соня вела домашнее хозяйство, ухаживала за теткой, читала ей вслух, переносила ее капризы и затаенное нерасположение и помогала Николаю скрывать от старой графини то положение нужды, в котором они находились. Николай чувствовал себя в неоплатном долгу благодарности перед Соней за все, что она делала для его матери, восхищался ее терпением и преданностью, но старался отдаляться от нее.

Он в душе своей как будто упрекал ее за то, что она была слишком совершенна, и за то, что не в чем было упрекать ее. В ней было все, за что ценят людей; но было мало того, что бы заставило его любить ее. И он чувствовал, что чем больше он ценит, тем меньше любит ее. Он поймал ее на слове, в ее письме, которым она давала ему свободу, и теперь держал себя с нею так, как будто все то, что было между ними, уже давным-давно забыто и ни в каком случае не может повториться.

Положение Николая становилось хуже и хуже. Мысль о том, чтобы откладывать из своего жалованья, оказалась мечтою. Он не только не откладывал, но, удовлетворяя требования матери, должал по мелочам. Выхода из его положения ему не представлялось никакого. Мысль о женитьбе на богатой наследнице, которую ему предлагали его родственницы, была ему противна. Другой выход

из его положения — смерть матери — никогда не приходила ему в голову. Он ничего не желал, ни на что не надеялся; и в самой глубине души испытывал мрачное и строгое наслаждение в безропотном перенесении своего положения. Он старался избегать прежних знакомых с их соболезнованием и предложениями оскорбительной помощи, избегал всякого рассеяния и развлечения, даже дома ничем не занимался, кроме раскладывания карт с своей матерью, молчаливыми прогулками по комнате и курением трубки за трубкой. Он как будто старательно соблюдал в себе то мрачное настроение духа, в котором одном он чувствовал себя в состоянии переносить свое положение.

VI

В начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о положении Ростовых и о том, как «сын жертвовал собой для матери», — так говорили в городе.

«Я и не ожидала от него другого», — говорила себе княжна Марья, чувствуя радостное подтверждение своей любви к нему. Вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Но, вспоминая свои отношения к Николаю в Воронеже, она боялась этого. Сделав над собой большое усилие, она, однако, через несколько недель после своего приезда в город приехала к Ростовым.

Николай первый встретил ее, так как к графине можно было проходить только через его комнату. При первом взгляде на нее лицо Николая вместо выражения радости, которую ожидала увидать на нем княжна Марья, приняло невиданное прежде княжной выражение холодности, сухости и гордости. Николай спросил о ее здоровье, проводил к матери и, посидев минут пять, вышел из комнаты.

Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней. Он ни слова не ответил на ее замечания о здоровье графини. «Вам какое дело? Оставьте меня в покое», — говорил его взгляд.

— И что шляется? Чего ей нужно? Терпеть не могу этих барынь и все эти любезности! — сказал он вслух при

Соне, видимо не в силах удерживать свою досаду, после того как карета княжны отъехала от дома.

— Ах, как можно так говорить, Nicolas! — сказала Соня, едва скрывая свою радость. — Она такая добрая, и maman так любит ее.

Николай ничего не отвечал и хотел бы вовсе не говорить больше о княжне. Но со времени ее посещения старая графиня всякий день по нескольку раз заговаривала о ней.

Графиня хвалила ее, требовала, чтобы сын съездил к ней, выражала желание видеть ее почаще, но вместе с тем всегда становилась не в духе, когда она о ней говорила.

Николай старался молчать, когда мать говорила о княжне, но молчание его раздражало графиню.

— Она очень достойная и прекрасная девушка, — говорила она, — и тебе надо к ней съездить. Все-таки ты увидишь кого-нибудь; а то тебе скука, я думаю, с нами.

— Да я нисколько не желаю, маменька.

— То хотел видеть, а теперь не желаю. Я тебя, мой милый, право, не понимаю. То тебе скучно, то ты вдруг никого не хочешь видеть.

— Да я не говорил, что мне скучно.

— Как же, ты сам сказал, что ты и видеть ее не желаешь. Она очень достойная девушка и всегда тебе нравилась; а теперь вдруг какие-то резоны. Всё от меня скрывают.

— Да нисколько, маменька.

— Если б я тебя просила сделать что-нибудь неприятное, а то я тебя прошу съездить отдать визит. Кажется, и учтивость требует... Я тебя просила и теперь больше не вмешиваюсь, когда у тебя тайны от матери.

— Да я поеду, если вы хотите.

— Мне все равно; я для тебя желаю.

Николай вздыхал, кусая усы, и раскладывал карты, стараясь отвлечь внимание матери на другой предмет.

На другой, на третий и на четвертый день повторился тот же и тот же разговор.

После своего посещения Ростовых и того неожиданного, холодного приема, сделанного ей Николаем, княжна Марья призналась себе, что она была права, не желая ехать первая к Ростовым.

«Я ничего и не ожидала другого, — говорила она себе, призывая на помощь свою гордость. — Мне нет никакого

дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана».

Но она не могла успокоиться этими рассуждениями: чувство, похожее на раскаяние, мучило ее, когда она вспоминала свое посещение. Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. И когда она спрашивала себя, что же такое было то, что́ мучило ее, она должна была признаваться, что это были ее отношения к Ростову. Его холодный, учтивый тон не вытекал из его чувства к ней (она это знала), а тон этот прикрывал что-то. Это что-то ей надо было разъяснить; и до тех пор она чувствовала, что не могла быть покойна.

В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова. С твердым решением не выдавать своей тайны и не выказать своего смущения она пригласила m-lle Bourienne и с ней вместе вышла в гостиную.

При первом взгляде на лицо Николая она увидала, что он приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости, и решилась твердо держаться в том самом тоне, в котором он обратится к ней.

Они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны, и когда прошли те требуемые приличием десять минут, после которых гость может встать, Николай поднялся, прощаясь.

Княжна с помощью m-lle Bourienne выдержала разговор очень хорошо; но в самую последнюю минуту, в то время как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало дано радостей в жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся.

Николай посмотрел на нее и, желая сделать вид, что он не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов m-lle Bourienne и опять взглянул на княжну. Она сидела так же неподвижно, и на нежном лице ее выражалось страдание. Ему вдруг стало жалко ее и смутно представилось, что, может быть, он был причиной той печали, которая выражалась на ее лице. Ему захотелось помочь ей, сказать ей что-нибудь приятное; но он не мог придумать, что бы сказать ей.

— Прощайте, княжна, — сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула.

— Ах, виновата, — сказала она, как бы проснувшись. — Вы уже едете, граф; ну, прощайте! А подушку графине?

— Постойте, я сейчас принесу ее, — сказала m-lle Bourienne и вышла из комнаты.

Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга.

— Да, княжна, — сказал, наконец, Николай, грустно улыбаясь, — недавно кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Богучарове. Как мы все казались в несчастии, — а я бы дорого дал, чтобы воротить это время... да не воротишь.

Княжна пристально глядела ему в глаза своим лучистым взглядом, когда он говорил это. Она как будто старалась понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил ей его чувство к ней.

— Да, да, — сказала она, — но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...

— Я не принимаю ваших похвал, — перебил он ее поспешно, — напротив, я беспрестанно себя упрекаю; но это совсем неинтересный и невеселый разговор.

И опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидала в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком.

— Я думала, что вы позволите мне сказать вам это, — сказала она. — Мы так сблизились с вами... и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие; но я ошиблась, — сказала она. Голос ее вдруг дрогнул. — Я не знаю почему, — продолжала она, оправившись, — вы прежде были другой и...

— Есть тысячи причин *почему* (он сделал особое ударение на слово *почему*). Благодарю вас, княжна, — сказал он тихо. — Иногда тяжело.

«Так вот отчего! Вот отчего! — говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. — Нет, я не один этот веселый, добрый и открытый взгляд, не одну красивую внешность полюбила в нем; я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу, — говорила она себе. — Да, он теперь беден, а я богата... Да, только от этого... Да, если б этого не было...» И, вспоминая прежнюю его

нежность и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности.

— Почему же, граф, почему? — вдруг почти вскрикнула она невольно, подвигаясь к нему. — Почему, скажите мне? Вы должны сказать. — Он молчал. — Я не знаю, граф, вашего *почему,* — продолжала она. — Но мне тяжело, мне... Я признаюсь вам в этом. Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы. И мне это больно. — У нее слезы были в глазах и в голосе. — У меня так мало было счастия в жизни, что мне тяжела всякая потеря... Извините меня, прощайте. — Она вдруг заплакала и пошла из комнаты.

— Княжна! постойте, ради бога, — вскрикнул он, стараясь остановить ее. — Княжна!

Она оглянулась. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным. . . . .
. . . .

VII

Осенью 1814-го года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые Горы.

В три года он, не продавая именья жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру.

Еще через три года, к 1820-му году, Николай так устроил свои денежные дела, что прикупил небольшое именье подле Лысых Гор и вел переговоры о выкупе отцовского Отрадного, что составляло его любимую мечту.

Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристрастился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно *именье,* а не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся

в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг — то есть работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание; мужик представлялся ему не только орудием, но и целью и судьею. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты.

Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения, назначал бурмистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись. Прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в *дебет* и *кредит* (как он любил насмешливо говорить), он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества.

При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями. И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля и так много дохода, как у Николая.

С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их *дармоедами* и, как все говорили, распустил и избаловал их; когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности когда надо было наказывать, он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме; только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего

сомнения. Всякое распоряжение его — он это знал — будет одобрено всеми против одного или нескольких.

Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека потому, что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не должно; но мерило это в его душе было твердо и непоколебимо.

Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: *«С нашим русским народом»,* — и воображал себе, что он терпеть не может мужика.

Но он всеми силами души любил этот *наш русский народ* и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты.

Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он, красный, загорелый и в поту, с запахом полыни и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил: «Ну еще денек, и мое и крестьянское все будет в гумне».

Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнею готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему он, добрый Nicolas, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело. Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала.

Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько: никогда и в голову мне не приходит; и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, — все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость... Вот что!» — говорил он, сжимая свой сангвинический кулак. «И справедливость, разумеется, — прибавлял он, — потому что если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает».

И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, — все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. «Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово — хозяин!»

VIII

Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении с старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился.

Однажды летом из Богучарова был вызван староста, заменивший умершего Дрона, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов старосты в сенях послышались крики и удары. Вернувшись к завтраку домой, Николай подошел к жене, сидевшей с низко опущенной над пяльцами головой, и стал рассказывать ей, по обыкновению, все то, что занимало его в это утро, и между прочим и про богучаровского старосту. Графиня Марья, краснея, бледнея и поджимая губы, сидела все так же, опустив голову, и ничего не отвечала на слова мужа.

— Эдакой наглый мерзавец, — говорил он, горячась при одном воспоминании. — Ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал... Да что с тобой, Мари? — вдруг спросил он.

Графиня Марья подняла голову, хотела что-то сказать, но опять поспешно потупилась и собрала губы.

— Что ты? что с тобой, дружок мой?..

Некрасивая графиня Марья всегда хорошела, когда плакала. Она никогда не плакала от боли или досады, но всегда от грусти и жалости. И когда она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую прелесть.

Как только Николай взял ее за руку, она не в силах была удержаться и заплакала.

— Nicolas, я видела... он виноват, но ты, зачем ты! Nicolas!.. — И она закрыла лицо руками.

Николай замолчал, багрово покраснел и, отойдя от нее, молча стал ходить по комнате. Он понял, о чем она плакала; но вдруг он не мог в душе своей согласиться с ней, что то, с чем он сжился с детства, что он считал самым обыкновенным, — было дурно.

«Любезности это, бабьи сказки, или она права?» — спрашивал он сам себя. Не решив сам с собою этого вопроса, он еще раз взглянул на ее страдающее и любящее лицо и вдруг понял, что она была права, а он давно уже виноват сам перед собою.

— Мари, — сказал он тихо, подойдя к ней, — этого больше не будет никогда; даю тебе слово. Никогда, — повторил он дрогнувшим голосом, как мальчик, который просит прощения.

Слезы еще чаще полились из глаз графини. Она взяла руку мужа и поцеловала ее.

— Nicolas, когда ты разбил камэ? — чтобы переменить разговор, сказала она, разглядывая его руку, на которой был перстень с головой Лаокоона.

— Нынче; все то же. Ах, Мари, не напоминай мне об этом. — Он опять вспыхнул. — Даю тебе честное слово, что этого больше не будет. И пусть это будет мне память навсегда, — сказал он, указывая на разбитый перстень.

С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо и руки начинали сжиматься в кулаки, Николай вертел разбитый перстень на пальце и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было последний раз.

— Мари, ты, верно, меня презираешь? — говорил он ей. — Я сто́ю этого.

— Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться, — с грустью говорила графиня Марья, стараясь утешить мужа.

В дворянском обществе губернии Николай был уважаем, но не любим. Дворянские интересы не занимали его. И за это-то одни считали его гордым, другие — глупым человеком. Все время его летом, с весеннего посева и до уборки, проходило в занятиях по хозяйству. Осенью он с тою же деловою серьезностию, с которою занимался хозяйством, предавался охоте, уходя на месяц и на два в отъезд с своей охотой. Зимой он ездил по другим деревням и занимался чтением. Чтение его составляли книги преимущественно исторические, выписывавшиеся им ежегодно на известную сумму. Он составлял себе, как говорил, серьезную библиотеку и за правило поставлял прочитывать все те книги, которые он покупал. Он с значительным видом сиживал в кабинете за этим чтением, сперва возложенным на себя как обязанность, а потом сделавшимся привычным занятием, доставлявшим ему особого рода удовольствие и сознание того, что он занят серьезным делом. За исключением поездок по делам, бóльшую часть времени зимой он проводил дома, сживаясь с семьей и входя в мелкие отношения между матерью и детьми. С женой он сходился все ближе и ближе, с каждым днем открывая в ней новые душевные сокровища.

Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Еще перед своей женитьбой Николай, обвиняя себя и хваля ее, рассказал своей невесте все, что было между ним и Соней. Он просил княжну Марью быть ласковой и доброй с его кузиной. Графиня Марья чувствовала вполне вину своего мужа; чувствовала и свою вину перед Соней; думала, что ее состояние имело влияние на выбор Николая, не могла ни в чем упрекнуть Соню, желала любить ее; но не только не любила, а часто находила против нее в своей душе злые чувства и не могла преодолеть их.

Однажды она разговорилась с другом своим Наташей о Соне и о своей к ней несправедливости.

— Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

— Что? — с удивлением спросила графиня Марья.

— «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий: за что? не знаю; в ней нет, мо-

жет быть, эгоизма, — я не знаю, но у нее отнимется, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она *пустоцвет*, знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы.

И несмотря на то, что графиня Марья толковала Наташе, что эти слова Евангелия надо понимать иначе, — глядя на Соню, она соглашалась с объяснением, данным Наташей. Действительно, казалось, что Соня не тяготится своим положением и совершенно примирилась с своим назначением *пустоцвета*. Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей. Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна; но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностию...

Усадьба Лысых Гор была вновь отстроена, но уже не на ту ногу, на которой она была при покойном князе.

Постройки, начатые во времена нужды, были более чем просты. Огромный дом, на старом каменном фундаменте, был деревянный, оштукатуренный только снутри. Большой поместительный дом с некрашеным дощатым полом был меблирован самыми простыми жесткими диванами и креслами, столами и стульями из своих берез и работы своих столяров. Дом был поместителен, с комнатами для дворни и отделениями для приезжих. Родные Ростовых и Болконских иногда съезжались гостить в Лысые Горы семьями, на своих шестнадцати лошадях, с десятками слуг, и жили месяцами. Кроме того, четыре раза в год, в именины и рожденья хозяев, съезжалось до ста человек гостей на один-два дня. Остальное время года шла ненарушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами из домашней провизии.

IX

Был канун зимнего Николина дня, 5-е декабря 1820 года. В этот год Наташа с детьми и мужем с начала осени гостила у брата. Пьер был в Петербурге, куда он поехал по своим особенным делам, как он говорил, на

три недели, и где он теперь проживал уже седьмую. Его ждали каждую минуту.

5-го декабря, кроме семейства Безуховых, у Ростовых гостил еще старый друг Николая, отставной генерал Василий Федорович Денисов.

6-го числа, в день торжества, в который съедутся гости, Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь, а потом принимать поздравления и предлагать закуски и говорить о дворянских выборах и урожае; но канун дня он еще считал себя вправе провести обычно. До обеда Николай поверил счеты бурмистра из рязанской деревни, по именью племянника жены, написал два письма по делам и прошелся на гумно, скотный и конный дворы. Приняв меры против ожидаемого на завтра общего пьянства по случаю престольного праздника, он пришел к обеду и, не успев с глазу на глаз переговорить с женою, сел за длинный стол в двадцать приборов, за который собрались все домашние. За столом были мать, жившая при ней старушка Белова, жена, трое детей, гувернантка, гувернер, племянник с своим гувернером, Соня, Денисов, Наташа, ее трое детей, их гувернантка и старичок Михаил Иваныч, архитектор князя, живший в Лысых Горах на покое.

Графиня Марья сидела на противоположном конце стола. Как только муж сел на свое место, по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стакан и рюмку, графиня Марья решила, что он не в духе, как это иногда с ним бывает, в особенности перед супом и когда он прямо с хозяйства придет к обеду. Графиня Марья знала очень хорошо это его настроение, и, когда она сама была в хорошем расположении, она спокойно ожидала, пока он поест супу, и тогда уже начинала говорить с ним и заставляла его признаваться, что он без причины был не в духе; но нынче она совершенно забыла это свое наблюдение; ей стало больно, что он без причины на нее сердится, и она почувствовала себя несчастной. Она спросила его, где он был. Он отвечал. Она еще спросила, все ли в порядке по хозяйству. Он неприятно поморщился от ее ненатурального тона и поспешно ответил.

«Так я не ошибалась, — подумала графиня Марья, — и за что он на меня сердится?» В тоне, которым он отвечал ей, графиня Марья слышала недоброжелательство

к себе и желание прекратить разговор. Она чувствовала, что ее слова были неестественны; но она не могла удержаться, чтобы не сделать еще несколько вопросов.

Разговор за обедом благодаря Денисову скоро сделался общим и оживленным, и графиня Марья не говорила с мужем. Когда вышли из-за стола и пришли благодарить старую графиню, графиня Марья поцеловала, подставляя свою руку, мужа и спросила, за что он на нее сердится.

— У тебя всегда странные мысли; и не думал сердиться, — сказал он.

Но слово *всегда* отвечало графине Марье: да, сержусь и не хочу сказать.

Николай жил с своей женой так хорошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека; но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда, именно после самых счастливых периодов, на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности; это чувство являлось чаще всего во времена беременности графини Марьи. Теперь она находилась в этом периоде.

— Ну, messieurs et mesdames, — сказал Николай громко и как бы весело (графине Марье казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить), — я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть. — И, не сказав больше ничего графине Марье, он ушел в маленькую диванную и лег на диван.

«Вот это *всегда* так, — думала графиня Марья. — Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна. Особенно в этом положении». Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало на свое желто-бледное, исхудавшее лицо с более, чем когда-нибудь, большими глазами.

И все ей стало неприятно: и крик и хохот Денисова, и разговор Наташи, и в особенности тот взгляд, который на нее поспешно бросила Соня.

Соня всегда была первым предлогом, который избирала графиня Марья для своего раздражения.

Посидев с гостями и не понимая ничего из того, что они говорили, она потихоньку вышла и пошла в детскую.

Дети на стульях ехали в Москву и пригласили ее с собою. Она села, поиграла с ними, но мысль о муже и о беспричинной досаде его не переставая мучила ее. Она вста-

ла и пошла, с трудом ступая на цыпочки, в маленькую диванную.

«Может, он не спит; я объяснюсь с ним», — сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Марья не заметила его.

— Chère Marie, il dort, je crois; il est si fatigué [1], — сказала (как казалось графине Марье везде ей встречавшаяся) Соня в большой диванной. — Андрюша не разбудил бы его.

Графиня Марья оглянулась, увидала за собой Андрюшу, почувствовала, что Соня права, и именно от этого вспыхнула и, видимо, с трудом удержалась от жесткого слова. Она ничего не сказала и, чтобы не послушаться ее, сделала знак рукой, чтобы Андрюша не шумел, а все-таки шел за ней, и подошла к двери. Соня прошла в другую дверь. Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось его ровное, знакомое жене до малейших оттенков дыхание. Она, слыша это дыхание, видела перед собой его гладкий красивый лоб, усы, все лицо, на которое она так часто подолгу глядела, когда он спал, в тишине ночи. Николай вдруг пошевелился и крякнул. И в то же мгновение Андрюша из-за двери закричал:

— Папенька, маменька тут стоит.

Графиня Марья побледнела от испуга и стала делать знаки сыну. Он замолк, и с минуту продолжалось страшное для графини Марьи молчание. Она знала, как не любил Николай, чтобы его будили. Вдруг за дверью послышалось новое кряхтение, движение, и недовольный голос Николая сказал:

— Ни минуты не дадут покоя. Мари, ты? Зачем ты привела его сюда?

— Я подошла только посмотреть, я не видала... извини...

Николай прокашлялся и замолк. Графиня Марья отошла от двери и проводила сына в детскую. Через пять минут маленькая черноглазая трехлетняя Наташа, любимица отца, узнав от брата, что папенька спит в маленькой диванной, не замеченная матерью, побежала к отцу. Черноглазая девочка смело скрыпнула дверью, подошла энергическими шажками тупых ножек к дивану и, рассмотрев положение отца, спавшего к ней спиною, поднялась на цыпочки и поцеловала лежавшую под головой

[1] Мари, он спит, кажется; он устал.

руку отца. Николай обернулся с умиленной улыбкой на лице.

— Наташа, Наташа! — слышался из двери испуганный шепот графини Марьи, — папенька спать хочет.

— Нет, мама, он не хочет спать, — с убедительностью отвечала маленькая Наташа, — он смеется.

Николай спустил ноги, поднялся и взял на руки дочь.

— Взойди, Маша, — сказал он жене. Графиня Марья вошла в комнату и села подле мужа.

— Я и не видала, как он за мной прибежал, — робко сказала она. — Я так...

Николай, держа одной рукой дочь, поглядел на жену и, заметив виноватое выражение ее лица, другой рукой обнял ее и поцеловал в волоса.

— Можно целовать мама́? — спросил он у Наташи.

Наташа застенчиво улыбнулась.

— Опять, — сказала она, с повелительным жестом указывая на то место, куда Николай поцеловал жену.

— Я не знаю, отчего ты думаешь, что я не в духе, — сказал Николай, отвечая на вопрос, который, он знал, был в душе его жены.

— Ты не можешь себе представить, как я бываю несчастна, одинока, когда ты такой. Мне все кажется...

— Мари, полно, глупости. Как тебе не совестно, — сказал он весело.

— Мне кажется, что ты не можешь любить меня, что я так дурна... и всегда... а теперь... в этом по...

— Ах, какая ты смешная! Не по хорошу мил, а по милу хорош. Это только Malvina и других любят за то, что они красивы; а жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто пропал и ничего не могу. Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй, отрежь его...

— Нет, я не так, но я понимаю. Так ты на меня не сердишься?

— Ужасно сержусь, — сказал он, улыбаясь, и, встав и оправив волосы, стал ходить по комнате.

— Ты знаешь, Мари, о чем я думал? — начал он, теперь, когда примирение было сделано, тотчас же начиная думать вслух при жене. Он не спрашивал о том, готова ли она слушать его; ему все равно было. Мысль пришла ему, стало быть, и ей. И он рассказал ей свое намерение уговорить Пьера остаться с ними до весны.

Графиня Марья выслушала его, сделала замечания и начала в свою очередь думать вслух свои мысли. Ее мысли были о детях.

— Как женщина видна уже теперь, — сказала она по-французски, указывая на Наташу. — Вы нас, женщин, упрекаете в нелогичности. Вот она — наша логика. Я говорю: папа хочет спать, а она говорит: нет, он смеется. И она права, — сказала графиня Марья, счастливо улыбаясь.

— Да, да! — И Николай, взяв на свою сильную руку дочь, высоко поднял ее, посадил на плечо, перехватив за ножки, и стал с ней ходить по комнате. У отца и у дочери были одинаково бессмысленно-счастливые лица.

— А знаешь, ты, может быть, несправедлив. Ты слишком любишь эту, — шепотом по-французски сказала графиня Марья.

— Да, но что ж делать?.. Я стараюсь не показать...

В это время в сенях и передней послышались звуки блока и шагов, похожих на звуки приезда.

— Кто-то приехал.

— Я уверена, что Пьер. Я пойду узнаю, — сказала графиня Марья и вышла из комнаты.

В ее отсутствие Николай позволил себе галопом прокатить дочь вокруг комнаты. Запыхавшись, он быстро скинул смеющуюся девочку и прижал ее к груди. Его прыжки напомнили ему танцы, и он, глядя на детское круглое счастливое личико, думал о том, какою она будет, когда он начнет вывозить ее старичком и, как, бывало, покойник отец танцовывал с дочерью Данилу Купора, пройдется с нею мазурку.

— Он, он, Nicolas, — сказала через несколько минут графиня Марья, возвращаясь в комнату. — Теперь ожила наша Наташа. Надо было видеть ее восторг и как ему досталось сейчас же за то, что он просрочил. — Ну, пойдем скорее, пойдем! Расстаньтесь же наконец, — сказала она, улыбаясь, глядя на девочку, жавшуюся к отцу. Николай вышел, держа дочь за руку.

Графиня Марья осталась в диванной.

— Никогда, никогда не поверила бы, — прошептала она сама с собой, — что можно быть так счастливой. — Лицо ее просияло улыбкой; но в то же самое время она вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде. Как будто, кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту.

X

Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем), и очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее развившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде.

Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге, и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила ли она или нет; ей даже казалось, что нет), но она, нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необыкновенному. Одна старая графиня, материнским чутьем понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа, как она, не столько шутя, сколько взаправду, кричала в Отрадном. Мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью.

— Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, — говорила графиня, — так что это даже глупо.

Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарованья, из которых у ней было одно необычайно сильное — пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованье. Она, то что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся — то есть всей душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом.

Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы, для того чтобы привлечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, — может быть, теперь это и было бы приятно ей, — она не знала, — но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.

Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтожный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности.

Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, — была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, — и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать.

И чем больше она вникала, не умом, а всей душой, всем существом своим в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно.

Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, *вопросами,* были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.

Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье.

Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствия от обеда, тогда, как и теперь, не существуют для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества — семья.

Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком.

Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи.

Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака — семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если б было другое.

Наташа не любила общества вообще, но она тем более дорожила обществом родных — графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти боль-

шими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше.

Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность — она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине — были обычным предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.

Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы, на обеды *так*, для того чтобы провести время, не смел расходовать денег для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался — читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, чтобы Наташа вскакивала и бежала исполнять его.

Весь дом руководился только мнимыми повелениями мужа, то есть желаниями Пьера, которые Наташа старалась угадывать. Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей — не только все делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. И она верно угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и, раз угадав ее, она уже твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему желанию, она боролась против него его же оружием.

Так, в тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, Наташе, после родов первого слабого ребенка, когда им при-

шлось переменить трех кормилиц и Наташа заболела от отчаяния, Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилиц. С следующим ребенком, несмотря на противудействие матери, докторов и самого мужа, восстававших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем и с тех пор всех детей кормила сама.

Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили подолгу, потом после спора Пьер, к радости и удивлению своему, находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенною от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении мысли Пьера.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо: все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим — таинственным, непосредственным отражением.

XI

Два месяца тому назад Пьер, уже гостя у Ростовых, получил письмо от князя Федора, призывавшего его в Петербург для обсуждения важных вопросов, занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из главных основателей.

Прочтя это письмо, Наташа, как она читала все письма мужа, несмотря на всю тяжесть для нее отсутствия мужа, сама предложила ему ехать в Петербург. Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа. На робкий, вопросительный взгляд Пьера после прочтения письма она отвечала просьбой, чтобы он ехал, но только определил бы ей верно время возвращения. И отпуск был дан на четыре недели.

С того времени, как вышел срок отпуска Пьера, две недели тому назад, Наташа находилась в неперестававшем состоянии страха, грусти и раздражения.

Денисов, отставной, недовольный настоящим положением дел генерал, приехавший в эти последние две недели, с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то любимого человека, смотрел на Наташу. Унылый, скучающий взгляд, невпопад ответы и разговоры о детской, было все, что он видел и слышал от прежней волшебницы.

Наташа была все это время грустна и раздражена, в особенности тогда, когда, утешая ее, мать, брат или графиня Марья старались извинить Пьера и придумать причины его замедления.

— Все глупости, все пустяки, — говорила Наташа, — все его размышления, которые ни к чему не ведут, и все эти дурацкие общества, — говорила она о тех самых делах, в великую важность которых она твердо верила. И она уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю.

Никто ничего не мог ей сказать столько успокаивающего, разумного, сколько это маленькое трехмесячное существо, когда оно лежало у ее груди и она чувствовала его движение рта и сопенье носиком. Существо это говорило: «Ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отмстить, ты боишься, а я вот он. А я вот он...» И отвечать нечего было. Это было больше, чем правда.

Наташа в эти две недели беспокойства так часто прибегала к ребенку за успокоением, так возилась над ним, что она перекормила его и он заболел. Она ужасалась его болезни, а вместе с тем этого-то ей и нужно было. Ухаживая за ним, она легче переносила беспокойство о муже.

Она кормила, когда зашумел у подъезда возок Пьера, и няня, знавшая, чем обрадовать барыню, неслышно, но быстро, с сияющим лицом, вошла в дверь.

— Приехал? — быстрым шепотом спросила Наташа, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить засыпавшего ребенка.

— Приехали, матушка, — прошептала няня.

Кровь бросилась в лицо Наташи, и ноги невольно сделали движение; но вскочить и бежать было нельзя. Ребенок опять открыл глазки, взглянул. «Ты тут», — как будто сказал он и опять лениво зачмокал губами.

Потихоньку отняв грудь, Наташа покачала его, передала няне и пошла быстрыми шагами в дверь. Но у двери она остановилась, как бы почувствовав упрек совести за то, что, обрадовавшись, слишком скоро оставила ребенка, и оглянулась. Няня, подняв локти, переносила ребенка за перильца кроватки.

— Да уж идите, идите, матушка, будьте покойны, идите, — улыбаясь, прошептала няня, с фамильярностью, устанавливающейся между няней и барыней.

И Наташа легкими шагами побежала в переднюю.

Денисов, с трубкой, вышедший в залу из кабинета, тут в первый раз узнал Наташу. Яркий, блестящий, радостный свет лился потоками из ее преобразившегося лица.

— Приехал! — проговорила она ему на бегу, и Денисов почувствовал, что он был в восторге от того, что приехал Пьер, которого он очень мало любил. Вбежав в переднюю, Наташа увидала высокую фигуру в шубе, разматывающую шарф.

«Он! он! Правда! Вот он, — проговорила она сама с собой и, налетев на него, обняла, прижала к себе, головой к груди, и потом, отстранив, взглянула на заиндевевшее, румяное и счастливое лицо Пьера. — Да, это он; счастливый, довольный...»

И вдруг она вспомнила все те муки ожидания, которые она перечувствовала в последние две недели: сияющая на ее лице радость скрылась; она нахмурилась, и поток упреков и злых слов излился на Пьера.

— Да, тебе хорошо! Ты очень рад, ты веселился... А каково мне? Хоть бы ты детей пожалел. Я кормлю, у меня молоко испортилось. Петя был при смерти. А тебе очень весело. Да, тебе весело.

Пьер знал, что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше; знал, что этот взрыв с ее стороны неприличен, и знал, что через две минуты это пройдет; он знал, главное, что ему самому было весело и радостно. Он бы хотел улыбнуться, но и не посмел подумать об этом. Он сделал жалкое, испуганное лицо и согнулся.

— Я не мог, ей-богу! Но что Петя?

— Теперь ничего, пойдем. Как тебе не совестно! Кабы ты мог видеть, какая я без тебя, как я мучилась...

— Ты здорова?

— Пойдем, пойдем, — говорила она, не выпуская его руки. И они пошли в свои комнаты.

Когда Николай с женою пришли отыскивать Пьера, он был в детской и держал на своей огромной правой ладони проснувшегося грудного сына и тетёшкал его. На широком лице его с раскрытым беззубым ртом остановилась веселая улыбка. Буря уже давно вылилась, и яркое, радостное солнце сияло на лице Наташи, умиленно смотревшей на мужа и сына.

— И хорошо всё переговорили с князем Федором? — говорила Наташа.

— Да, отлично.

— Видишь, держит (голову, разумела Наташа). Ну, как он меня напугал!

— А княгиню видел? правда, что она влюблена в этого?..

— Да, можешь себе представить...

В это время вошли Николай с графиней Марьей. Пьер, не спуская с рук сына, нагнувшись, поцеловался с ними и отвечал на расспросы. Но, очевидно, несмотря на многое интересное, что нужно было переговорить, ребенок в колпачке, с качающейся головой, поглощал все внимание Пьера.

— Как мил! — сказала графиня Марья, глядя на ребенка и играя с ним. — Вот этого я не понимаю, Nicolas, — обратилась она к мужу, — как ты не понимаешь прелесть этих чудо прелестей.

— Не понимаю, не могу, — сказал Николай, холодным взглядом глядя на ребенка. — Кусок мяса. Пойдем, Пьер.

— Ведь главное, он такой нежный отец, — сказала графиня Марья, оправдывая своего мужа, — но только, когда уже год или этак...

— Нет, Пьер отлично их нянчит, — сказала Наташа, — он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребенка. Посмотрите.

— Ну, только не для этого, — вдруг, смеясь, сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне.

XII

Как в каждой настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое

целое. Каждое событие, случавшееся в доме, было одинаково — радостно или печально — важно для всех этих миров; но каждый мир имел совершенно свои, независимые от других, причины радоваться или печалиться какому-либо событию.

Так приезд Пьера было радостное, важное событие, и таким оно отразилось на всех.

Слуги, вернейшие судьи господ, потому что они судят не по разговорам и выраженным чувствам, а по действиям и образу жизни, — были рады приезду Пьера, потому что при нем, они знали, граф перестанет ходить ежедневно по хозяйству и будет веселее и добрее, и еще потому, что всем будут богатые подарки к празднику.

Дети и гувернантки радовались приезду Безухова, потому что никто так не вовлекал их в общую жизнь, как Пьер. Он один умел на клавикордах играть тот экосез (единственная его пьеса), под который можно танцевать, как он говорил, всевозможные танцы, и он привез, наверное, всем подарки.

Николенька, который был теперь пятнадцатилетний худой, с вьющимися русыми волосами и прекрасными глазами, болезненный, умный мальчик, радовался потому, что дядя Пьер, как он называл его, был предметом его восхищения и страстной любви. Никто не внушал Николеньке особенной любви к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспитательница его, графиня Марья, все силы употребляла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа так же, как она его любила, и Николенька любил дядю; но любил с чуть заметным оттенком презрения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя Николай, он хотел быть ученым, умным и добрым, как Пьер. В присутствии Пьера на его лице было всегда радостное сияние, и он краснел и задыхался, когда Пьер обращался к нему. Он не проранивал ни одного слова из того, что говорил Пьер, и потом с Десалем и сам с собою вспоминал и соображал значение каждого слова Пьера. Прошедшая жизнь Пьера, его несчастия до 12-го года (о которых он из слышанных слов составил себе смутное поэтическое представление), его приключения в Москве, плен, Платон Каратаев (о котором он слыхал от Пьера), его любовь к Наташе (которую тоже особенною любовью любил мальчик) и, главное, его дружба к отцу, которого не помнил Николенька, — все это делало для него из Пьера героя и святыню.

Из прорывавшихся речей об его отце и Наташе, из того волнения, с которым говорил Пьер о покойном, из той осторожной, благоговейной нежности, с которой Наташа говорила о нем же, мальчик, только что начинавший догадываться о любви, составил себе понятие о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу. Отец же этот, которого не помнил мальчик, представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга. И мальчик был счастлив вследствие приезда Пьера.

Гости были рады Пьеру, как человеку, всегда оживлявшему и сплочавшему всякое общество.

Взрослые домашние, не говоря о жене, были рады другу, при котором жилось легче и спокойнее.

Старушки были рады и подаркам, которые он привезет, и, главное, тому, что опять оживет Наташа.

Пьер чувствовал эти различные на себя воззрения различных миров и спешил каждому дать ожидаемое.

Пьер, самый рассеянный, забывчивый человек, теперь, по списку, составленному женой, купил все, не забыв ни комиссий матери и брата, ни подарков на платье Беловой, ни игрушек племянникам. Ему странно показалось в первое время своей женитьбы это требование жены — исполнить и не забыть всего того, что он взялся купить, и поразило серьезное огорчение ее, когда он в первую свою поездку все перезабыл. Но впоследствии он привык к этому. Зная, что Наташа для себя ничего не поручала, а для других поручала только тогда, когда он сам вызывался, он теперь находил неожиданное для самого себя детское удовольствие в этих покупках подарков для всего дома и ничего никогда не забывал. Ежели он заслуживал упреки от Наташи, то только за то, что покупал лишнее и слишком дорого. Ко всем своим недостаткам, по мнению большинства: неряшливости, опущенности, или качествам, по мнению Пьера, Наташа присоединяла еще и скупость.

С того самого времени, как Пьер стал жить большим домом, семьей, требующей больших расходов, он, к удивлению своему, заметил, что он проживал вдвое меньше, чем прежде, и что его расстроенные последнее время, в особенности долгами первой жены, дела стали поправляться.

Жить было дешевле потому, что жизнь была связана: той самой дорогой роскоши, состоящей в таком роде жизни, что всякую минуту можно изменить его, Пьер не имел уже, да и не желал иметь более. Он чувствовал, что образ жизни его определен теперь раз навсегда, до смерти, что изменить его не в его власти, и потому этот образ жизни был дешев.

Пьер с веселым, улыбающимся лицом разбирал свои покупки.

— Каково! — говорил он, равертывая, как лавочник, кусок ситца. Наташа, держа на коленях старшую дочь и быстро переводя сияющие глаза с мужа на то, что он показывал, сидела против него.

— Это для Беловой? Отлично. — Она пощупала добро́ту.

— Это по рублю, верно?

Пьер сказал цену.

— Дорого, — сказала Наташа. — Ну, как дети рады будут и maman. Только напрасно ты мне это купил, — прибавила она, не в силах удержать улыбку, любуясь на золотой с жемчугами гребень, которые тогда только стали входить в моду.

— Меня Адель сбила: купить да купить, — сказал Пьер.

— Когда же я надену? — Наташа вложила его в косу. — Это Машеньку вывозить: может, тогда опять будут носить. Ну, пойдем.

И, забрав подарки, они пошли сначала в детскую, потом к графине.

Графиня, по обычаю, сидела с Беловой за гранпасьянсом, когда Пьер и Наташа с свертками под мышками вошли в гостиную.

Графине было уже за шестьдесят лет. Она была совсем седа и носила чепчик, обхватывавший все лицо рюшем. Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклы.

После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, то есть

употреблять свое время, свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях, и очень старых людях. В ее жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидна была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и т. д. только потому, что у ней был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала, не вызываемая чем-нибудь внешним, не так, как делают это люди во всей силе жизни, когда из-за цели, к которой они стремятся, не заметна другая цель — приложения своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать легкими и языком. Она плакала, как ребенок, потому что ей надо было просморкаться и т. д. То, что для людей в полной силе представляется целью, для нее был, очевидно, предлог.

Так поутру, в особенности ежели накануне она покушала чего-нибудь жирного, у ней являлась потребность посердиться, и тогда она выбирала ближайший предлог — глухоту Беловой.

Она с другого конца комнаты начинала говорить ей что-нибудь тихо.

— Нынче, кажется, теплее, моя милая, — говорила она шепотом. И когда Белова отвечала: «Как же, приехали», она сердито ворчала: — Боже мой, как глуха и глупа!

Другой предлог был нюхательный табак, который ей казался то сух, то сыр, то дурно растерт. После этих раздражений желчь разливалась у нее в лице, и горничные ее знали по верным признакам, когда будет опять глуха Белова, и опять табак сделается сыр, и когда будет желтое лицо. Так, как ей нужно было поработать желчью, так ей нужно было иногда поработать остававшимися способностями мыслить, и для этого предлогом был пасьянс. Когда нужно было поплакать, тогда предметом был покойный граф. Когда нужно было тревожиться, предлогом был Николай и его здоровье; когда нужно было язвительно поговорить, тогда предлогом была графиня Марья. Когда нужно было дать упражнение органу голоса, — это бывало большей частью в седьмом часу, после пищеварительного отдыха в темной комнате, — тогда предлогом были рассказы все одних и тех же историй и все одним и тем же слушателям.

Это состояние старушки понималось всеми домашними хотя никто никогда не говорил об этом и всеми употреблялись всевозможные усилия для удовлетворения этих ее потребностей. Только в редком взгляде и грустной полуулыбке, обращенной друг к другу между Николаем, Пьером, Наташей и Марьей, бывало выражаемо это взаимное понимание ее положения.

Но взгляды эти, кроме того, говорили еще другое; они говорили о том, что она сделала уже свое дело в жизни, о том, что она не вся в том, что теперь видно в ней, о том, что и все мы будем такие же и что радостно покоряться ей, сдерживать себя для этого когда-то дорогого, когда-то такого же полного, как и мы, жизни, теперь жалкого существа. Memento mori [1], — говорили эти взгляды.

Только совсем дурные и глупые люди да маленькие дети из всех домашних не понимали этого и чуждались ее.

XIII

Когда Пьер с женою пришли в гостиную, графиня находилась в привычном состоянии потребности занять себя умственной работой гранпасьянса и потому, несмотря на то, что она по привычке сказала слова, всегда говоримые ею при возвращении Пьера или сына: «Пора, пора, мой милый; заждались. Ну, слава богу». И при передаче ей подарков — сказала другие привычные слова: «Не дорог подарок, дружок, — спасибо, что меня, старуху, даришь...» — видимо было, что приход Пьера был ей неприятен в эту минуту, потому что отвлекал ее от недоложенного гранпасьянса. Она окончила пасьянс и тогда только принялась за подарки. Подарки состояли из прекрасной работы футляра для карт, севрской ярко-синей чашки с крышкой и с изображениями пастушек и из золотой табакерки с портретом покойного графа, который Пьер заказывал в Петербурге миниатюристу. (Графиня давно желала этого). Ей не хотелось теперь плакать, и потому она равнодушно посмотрела на портрет и занялась больше футляром.

— Благодарствуй мой друг, ты утешил меня, — сказала она, как всегда говорила. — Но лучше всего, что сам себя привез. А то это ни на что не похоже; хоть бы ты

---

[1] Помни о смерти *(лат.)*. — *Ред.*

побранил свою жену. Что это? Как сумасшедшая без тебя. Ничего не видит, не помнит, — говорила она привычные слова. — Посмотри, Анна Тимофеевна, — прибавила она, — какой сынок футляр нам привез.

Белова хвалила подарки и восхищалась своим ситцем.

Хотя Пьеру, Наташе, Николаю, Марье и Денисову многое нужно было поговорить такого, что не говорилось при графине, не потому, чтобы что-нибудь скрывалось от нее, но потому, что она так отстала от многого, что, начав говорить про что-нибудь при ней, надо бы было отвечать на ее вопросы, некстати вставляемые, и повторять вновь уже несколько раз повторенное ей: рассказывать, что тот умер, тот женился, чего она не могла вновь запомнить; но они, по обычаю, сидели за чаем в гостиной у самовара, и Пьер отвечал на вопросы графини, ей самой ненужные и никого не интересующие, о том, что князь Василий постарел и что графиня Марья Алексеевна велела кланяться и помнит и т. д. ...

Такой разговор, никому не интересный, но необходимый, велся во все время чая. За чай вокруг круглого стола и самовара, у которого сидела Соня, собирались все взрослые члены семейства. Дети, гувернеры и гувернантки уже отпили чай, и голоса их слышались в соседней диваной. За чаем все сидели на обычных местах; Николай сидел у печки за маленьким столиком, к которому ему подавали чай. Старая, с совершенно седым лицом, из которого еще резче выкатывались большие черные глаза, борзая Милка, дочь первой Милки, лежала подле него на кресле. Денисов, с поседевшими наполовину курчавыми волосами, усами и бакенбардами, в расстегнутом генеральском сюртуке, сидел подле графини Марьи. Пьер сидел между женою и старою графиней. Он рассказывал то, что — он знал — могло интересовать старушку и быть понято ею. Он говорил о внешних, общественных событиях и о тех людях, которые когда-то составляли кружок сверстников старой графини, которые когда-то были действительным, живым отдельным кружком, но которые теперь, большей частью разбросанные по миру, так же как она, доживала свой век, собирая остальные колосья того, что они посеяли в жизни. Но они-то, эти сверстники, казались старой графине исключительно серьезным и настоящим миром. По оживлению Пьера Наташа видела, что поездка его была интересна, что ему многое хотелось

рассказать, но он не смел говорить при графине. Денисов, не будучи членом семьи, поэтому не понимая осторожности Пьера, кроме того, как недовольный, весьма интересовался тем, что делалось в Петербурге, и беспрестанно вызывал Пьера на рассказы то о только что случившейся истории в Семеновском полку, то об Аракчееве, то о Библейском обществе. Пьер иногда увлекался и начинал рассказывать, но Николай и Наташа всякий раз возвращали его к здоровью князя Ивана и графини Марьи Антоновны.

— Ну что же, все это безумие, и Госнер и Татаринова, — спросил Денисов, — неужели все продолжается?

— Как продолжается? — вскрикнул Пьер. — Сильнее чем когда-нибудь. Библейское общество — это теперь все правительство.

— Это что же, mon cher ami? — спросила графиня, отпившая свой чай и, видимо, желая найти предлог для того, чтобы посердиться после пищи. — Как же это ты говоришь: правительство; я это не пойму.

— Да, знаете, maman, — вмешался Николай, знавший как надо было переводить на язык матери, — это Александр Николаевич Голицын устроил общество, так он в большой силе, говорят.

— Аракчеев и Голицын, — неосторожно сказал Пьер, — это теперь все правительство. И какое! Во всем видят заговоры, всего боятся.

— Что ж, князь Александр Николаевич-то чем же виноват? Он очень почтенный человек. Я встречала его тогда у Марьи Антоновны, — обиженно сказала графиня и, еще больше обиженная тем, что все замолчали, продолжала: — Нынче всех судить стали. Евангельское общество — ну что ж дурного? — И она встала (все встали тоже) и с строгим видом поплыла к своему столу в диванную.

Среди установившегося грустного молчания из соседней комнаты послышались детские смех и голоса. Очевидно, между детьми происходило какое-то радостное волнение.

— Готово, готово! — послышался из-за всех радостный вопль маленькой Наташи. Пьер переглянулся с графиней Марьей и Николаем (Наташу он всегда видел) и счастливо улыбнулся.

— Вот музыка-то чудная! — сказал он.

— Это Анна Макаровна чулок кончила, — сказала графиня Марья.

— О, пойду смотреть, — вскакивая, сказал Пьер. — Ты знаешь, — сказал он, останавливаясь у двери, — отчего я особенно люблю эту музыку? — они мне первые дают знать, что все хорошо. Нынче еду: чем ближе к дому, тем больше страх. Как вошел в переднюю, слышу, заливается Андрюша о чем-то, — ну, значит, все хорошо...

— Знаю, знаю я это чувство, — подтвердил Николай. — Мне идти нельзя, ведь чулки — сюрприз мне.

Пьер вошел к детям, и хохот и крики еще более усилились. — Ну, Анна Макаровна, — слышался голос Пьера, — вот сюда, на середину, и по команде — раз, два, и когда я скажу три, ты сюда становись. Тебя на руки. Ну, раз, два... — проговорил голос Пьера; сделалось молчание. — Три! — и восторженный стон детских голосов поднялся в комнате.

— Два, два! — кричали дети.

Это были два чулка, которые по одному ей известному секрету Анна Макаровна сразу вязала на спицах и которые она всегда торжественно при детях вынимала один из другого, когда чулок был довязан.

XIV

Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз.

— Non, monsieur Dessales, je demanderai à ma tante de rester[1], — отвечал также шепотом Николенька Болконский.

— Ma tante, позвольте мне остаться, — сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.

— Когда вы тут, он оторваться не может... — сказала она ему.

— Je vous le ramènerai tout-à-l'heure, monsieur Dessa-

[1] Нет, мосье Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться.

les; bonsoir[1], — сказал Пьер, подавая швейцару руку, и, улыбаясь, обратился к Николеньке. — Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится, — прибавил он, обращаясь к графине Марье.

— На отца? — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными, блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве; Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик, с своими блестящими глазами, сидел никем не замечаемый в уголку, и, только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо испытывая какое-то новое и сильное чувство.

Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера.

— Пг'ежде немцем надо было быть, тепег'ь надо плясать с Татаг'иновой и madame Кг'юднег', читать... Экаг'стгаузена и бг'атию. Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапаг'та! Он бы всю дуг'ь повыбил. Ну на что похоже — солдату Шваг'цу дать Семеновский полк? — кричал он.

Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А. назначен министром того-то, а что Б. генерал-губернатором туда-то и что государь сказал то-то, а министр то-то, что все это дела очень значительные. И он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших правительственных сфер.

[1] Я сейчас приведу вам его, мосье Десаль; покойной ночи.

Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург — советоваться с новым другом своим, князем Федором; и она помогла ему вопросом: что же его дело с князем Федором?

— О чем это? — спросил Николай.

— Все о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. — Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.

— Что ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай. — Что же можно сделать.

— А вот что...

— Пойдемте в кабинет, — сказал Николай.

Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенька Болконский, не замеченный дядей, пришел туда же и сел в тени, к окну, у письменного стола.

— Ну, что ж ты сделаешь? — сказал Денисов.

— Вечно фантазии, — сказал Николай.

— Вот что, — начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как он говорил. — Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди sans foi ni loi[1], которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев и tutti quanti...[2] Ты согласен, что ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то, чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели? — обратился он к Николаю.

— Ну, да к чему ты это говоришь? — сказал Николай.

— Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как, с тех пор как суще-

[1] без совести и чести.

[2] и тому подобные... *(итал.)* — *Ред.*

ствует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер, значительно взглядывая исподлобья, — князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности, все это хорошо, разумеется. Цель прекрасная, и все; но в настоящих обстоятельствах надо другое.

В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.

— Зачем ты здесь?

— Отчего? Оставь его, — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: — Этого мало, и я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, — надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги — и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю: расширьте круг общества; mot d'ordre [1] пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и все больше и больше хмурился.

— Да с какою же целью деятельность? — вскрикнул он. — И в какие отношения станете вы к правительству?

— Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество — следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло, — возвышая голос, сказал Николай.

---

[1] лозунг.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос.

Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто и что она все это давно знала (ей казалось это потому, что она знала то, из чего все это выходило, — всю душу Пьера). Но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру.

Еще более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик с тонкой шеей, выходившей из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал — сам не замечая этого — попадавшиеся ему в руки сургучи и перья на столе дяди.

— Совсем не то, что ты думаешь, а вот что такое было немецкий тугендбунд и тот, который я предлагаю.

— Ну, бг'ат, это колбасникам хог'ошо тугендбунд. А я этого не понимаю, да и не выговог'ю, — послышался громкий, решительный голос Денисова. — Все скверг'но и мег'зко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нг'авится — так *бунт*, во это так! Je suis vot'e homme! [1]

Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.

— Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. — Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу;

[1] Тогда я ваш!

но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь.

После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая.

Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.

— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами? — спросил он.

Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал он неохотно и вышел из кабинета.

Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил то, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю.

— Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно, — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья.

Николай сердито вздрогнул.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него.

— Тебе вовсе тут и быть не следовало, — сказал он.

XV

За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая, — о воспоминаниях 12-го года, на который вызвал

Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях.

Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом: она что-то писала.

— Что ты пишешь, Мари? — спросил Николай. Графиня Марья покраснела. Она боялась, что то, что она писала, не будет понято и одобрено мужем.

Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему.

— Это дневник, Nicolas, — сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым, крупным почерком.

— Дневник?.. — с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки тетрадку. Было написано по-французски:

«4 декабря. Нынче Андрюша, старший сын, проснувшись, не хотел одеваться, и m-lle Louise прислала за мной. Он был в капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его и стала с няней поднимать других детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивившись; потом, в одной рубашонке, выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго его не могла успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня; потом, когда я вечером дала ему билетец, он опять жалостно расплакался, целуя меня. С ним все можно сделать нежностью».

— Что такое билетец? — спросил Николай.

— Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя.

Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи: но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.

5-го декабря было записано:

«Митя шалил за столом. Папа не велел давать ему пирожного. Ему не дали; но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели! Я думаю, что наказывать, не давая сластей, развивает жадность. Сказать Nicolas».

Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно (одобрял или не одобрял он дневник) смотрели на него. Не могло быть сомнения не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своей женой.

«Может быть, не нужно было делать это так педантически; может быть, и вовсе не нужно», — думал Николай; но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, — восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным для Николая, возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена.

Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого.

— Очень и очень одобряю, мой друг, — сказал он с значительным видом. И, помолчав немного, он прибавил: — А я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете. Мы заспорили с Пьером, и я погорячился. Да невозможно. Это такой ребенок. Я не знаю, что бы с ним было, ежели бы Наташа не держала его за уздцы. Можешь себе представить, зачем ездил в Петербург... Они там устроили...

— Да, я знаю, — сказала графиня Марья. — Мне Наташа рассказала.

— Ну, так ты знаешь, — горячась при одном воспоминании о споре, продолжал Николай. — Он хочет меня уверить, что обязанность всякого честного человека состоит в том, чтобы идти против правительства, тогда как присяга и долг... Я жалею, что тебя не было. А то на меня все напали, и Денисов, и Наташа... Наташа уморительна. Ведь как она его под башмаком держит, а чуть дело до рассуждений — у ней своих слов нет — она так его словами и говорит, — прибавил Николай, поддаваясь тому непреодолимому стремлению, которое вызывает

на суждение о людях самых дорогих и близких. Николай забывал, что слово в слово то же, что он говорил о Наташе, можно было сказать о нем в отношении его жены.

— Да, я это замечала, — сказала графиня Марья.

— Когда я ему сказал, что долг и присяга выше всего, он стал доказывать бог знает что. Жаль, что тебя не было; что бы ты сказала?

— По-моему, ты совершенно прав. Я так и сказала Наташе. Пьер говорит, что все страдают, мучатся, развращаются и что наш долг помочь своим ближним. Разумеется, он прав, — говорила графиня Марья, — но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми.

— Ну вот, вот, это самое я и говорил ему, — подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил это самое. — А он свое: что любовь к ближнему и христианство, и все это при Николеньке, который тут забрался в кабинет и переломал все.

— Ах, знаешь ли, Nicolas, Николенька так часто меня мучит, — сказала графиня Марья. — Это такой необыкновенный мальчик. И я боюсь, что я забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня; а у него никого нет. Он вечно один с своими мыслями.

— Ну уж, кажется, тебе себя упрекать за него нечего. Все, что может сделать самая нежная мать для своего сына, ты делала и делаешь для него. И я, разумеется, рад этому. Он славный, славный мальчик. Нынче он в каком-то беспамятстве слушал Пьера. И можешь себе представить: мы выходим к ужину; я смотрю, он изломал вдребезги у меня все на столе и сейчас же сказал. Я никогда не видал, чтоб он сказал неправду. Славный, славный мальчик! — повторил Николай, которому по душе не нравился Николенька, но которого ему всегда бы хотелось признавать славным.

— Всё не то, что мать, — сказала графиня Марья, — я чувствую, что не то, и меня это мучит. Чудный мальчик; но я ужасно боюсь за него. Ему полезно будет общество.

— Что ж, ненадолго; нынче летом я отвезу его в Петербург, — сказал Николай. — Да, Пьер всегда был и останется мечтателем, — продолжал он, возвращаясь к разговору в кабинете, который, видимо, взволновал его. —

Ну какое мне дело до всего этого там — что Аракчеев нехорош и всё, — какое мне до этого дело было, когда я женился и у меня долгов столько, что меня в яму сажают, и мать, которая этого не может видеть и понимать. А потом ты, дети, дела. Разве я для своего удовольствия с утра до вечера и в конторе, и по делам? Нет, я знаю, что я должен работать, чтоб успокоить мать, отплатить тебе и детей не оставить такими нищими, как я был.

Графине Марье хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим *делам;* но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его руку и поцеловала. Он принял этот жест жены за одобрение и подтверждение своих мыслей и, подумав несколько времени молча, вслух продолжал свои мысли.

— Ты знаешь, Мари, — сказал он, — нынче приехал Илья Митрофаныч (это был управляющий делами) из тамбовской деревни и рассказывает, что за лес уже дают восемьдесят тысяч. — И Николай с оживленным лицом стал рассказывать о возможности в весьма скором времени выкупить Отрадное. — Еще десять годков жизни, и я оставлю детям десять тысяч в отличном положении.

Графиня Марья слушала мужа и понимала все, что он говорил ей. Она знала, что когда он так думал вслух, он иногда спрашивал ее, что он сказал, и сердился, когда замечал, что она думала о другом. Но она делала для этого большие усилия, потому что ее нисколько не интересовало то, что он говорил. Она смотрела на него и не то что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает, и как бы от этого она еще сильнее, с оттенком страстной нежности, любила его. Кроме этого чувства, поглощавшего ее всю и мешавшего ей вникать в подробности планов мужа, в голове ее мелькали мысли, не имеющие ничего общего с тем, о чем он говорил. Она думала о племяннике (рассказ мужа о его волнении при разговоре Пьера сильно поразил ее), различные черты его нежного, чувствительного характера представлялись ей; и она, думая о племяннике, думала и о своих детях. Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним и с грустью находила, что в чувстве ее к Николеньке чего-то недоставало.

Иногда ей приходила мысль, что различие это происходит от возраста; но она чувствовала, что была виновата перед ним, и в душе своей обещала себе исправиться и сделать невозможное — то есть в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николеньку, и всех ближних так, как Христос любил человечество. Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее.

«Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо», — подумал он, и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.

XVI

Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривают жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга, путем противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было не ладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера. Когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре.

С того самого времени, как они остались одни и Наташа с широко раскрытыми, счастливыми глазами подошла к нему тихо и вдруг, быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала: «Теперь весь, весь мой, мой! Не уйдешь!» — с этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга.

Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением,

так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими.

Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытье брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа призналась искренно в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам, и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это.

Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами.

— Я совсем разучился говорить с дамами, — сказал он, — просто скучно. Особенно, я так был занят.

Наташа пристально посмотрела на него и продолжала:

— Мари, это такая прелесть! — сказала она. — Как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать...

— Ах, как он похож на отца, — перебил Пьер.

Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем: ему неприятно было воспоминание о его споре с шурином и хотелось знать об этом мнение Наташи.

— У Николеньки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тем, чтобы ouvrir un carrière [1], — сказала она, повторяя слова, раз сказанные Пьером.

— Нет, главное для Николая, — сказал Пьер, — мысли и рассуждения — забава, почти препровождение времени. Вот он собирает библиотеку и за правило поставил не покупать новой книги, не прочтя купленной, — и Сисмонди, и Руссо, и Монтескье, — с улыбкой прибавил Пьер. — Ты ведь знаешь, как я его... — начал было он смягчать свои слова; но Наташа перебила его, давая чувствовать что это не нужно.

— Так ты говоришь, для него мысли забава...

[1] открыть поприще.

— Да, а для меня все остальное забава. Я все время в Петербурге как во сне всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное забава.

— Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми, — сказала Наташа. — Которая больше всех обрадовалась? Верно, Лиза?

— Да, — сказал Пьер и продолжал то, что занимало его. — Николай говорит, мы не должны думать. Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это (я тебе могу сказать), что без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противудействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель. Князь Сергий славный человек и умен.

Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль, но одно смущало ее. Это было то, что он был ее муж. «Неужели такой важный и нужный человек для общества — вместе с тем мой муж? Отчего это так случилось?» Ей хотелось выразить ему это сомнение. «Кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех?» — спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером. Никого из всех людей, судя по его рассказам, он так не уважал, как Платона Каратаева.

— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала она, — о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?

Пьер нисколько не удивлялся этому вопросу. Он понял ход мыслей жены.

— Платон Каратаев? — сказал он и задумался, видимо, искренно стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. — Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да.

— Я ужасно люблю тебя! — сказала вдруг Наташа. — Ужасно. Ужасно!

— Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав. — Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие, и я с гордостью показал бы ему нас. Вот ты говоришь — разлука. А ты не поверишь, какое особенное чувство я к тебе имею после разлуки...

— Да вот еще... — начала было Наташа.

— Нет, не то. Я никогда не перестаю тебя любить. И больше любить нельзя; а это особенно... Ну, да... — Он не договорил, потому что встретившийся взгляд их договорил остальное.

— Какие глупости, — сказала вдруг Наташа, — медовый месяц и что самое счастье в первое время. Напротив, теперь самое лучшее. Ежели бы ты только не уезжал. Помнишь, как мы ссорились? И всегда я была виновата. Всегда я. И о чем мы ссорились — я не помню даже.

— Все об одном, — сказал Пьер, улыбаясь, — ревно...

— Не говори, терпеть не могу, — вскрикнула Наташа. И холодный, злой блеск засветился в ее глазах. — Ты видел ее? — прибавила она, помолчав.

— Нет, да и видел бы, не узнал.

Они помолчали.

— Ах, знаешь? Когда ты в кабинете говорил, я смотрела на тебя, — заговорила Наташа, видимо стараясь отогнать набежавшее облако .— Ну, две капли воды ты на него похож, на мальчика. (Она так называла сына). Ах, пора к нему идти... Пришло... А жалко уходить.

Они замолчали на несколько секунд. Потом вдруг в одно и то же время повернулись друг к другу и начали что-то говорить. Пьер начал с самодовольствием и увлечением; Наташа — с тихой, счастливой улыбкой. Столкнувшись, они оба остановились, давая друг другу дорогу.

— Нет, ты что? говори, говори.

— Нет, ты скажи, я так, глупости, — сказала Наташа.

Пьер сказал то, что он начал. Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру.

— Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, — всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто.

— Да.

— А ты что хотела сказать?

— Я так, глупости.

— Нет, все-таки.

— Да ничего, пустяки, — сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой, — я только, хотела сказать про Петю: нынче няня подходит взять его от меня, он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне — верно, думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит. Ну, прощай! — И она пошла из комнаты.

В это же время внизу, в отделении Николеньки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка (мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка). Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николенька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках — таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge[1]. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но, только несколько плотнее. Они — он и Пьер — неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.

— Это вы сделали? — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. — Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец — князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся.

«Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил — я сделаю это. Муций

[1] нитями богородицы.

Сцевола сжег свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился. И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу бога: чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал.

— Etes-vous indisposé?[1] — послышался голос Десаля.

— Non[2], — отвечал Николенька и лег на подушку. «Он добрый и хороший, я люблю его, — думал он о Десале. — А дядя Пьер! О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже *он* был доволен...»

---

[1] Вы нездоровы?
[2] Нет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом — описать жизнь не только человечества, но одного народа, представляется невозможным.

Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой — жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом; и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа.

На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали: на первый вопрос — признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека; и на второй вопрос — признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели.

Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества.

Новая история в теории своей отвергла оба эти положения.

Казалось бы, что, отвергнув верования древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике.

Вместо людей, одаренных божественной властью и непосредственно руководимых волею божества, новая история поставила или героев, одаренных необыкновенными, нечеловеческими способностями, или просто людей самых разнообразных свойств, от монархов до журналистов, ру-

ководящих массами. Вместо прежних, угодных божеству, целей народов: иудейского, греческого, римского, которые древним представлялись целями движения человечества, новая история поставила свои цели — блага французского, германского, английского и, в самом своем высшем отвлечении, цели блага цивилизации всего человечества, под которым разумеются обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка.

Новая история отвергла верования древних, не поставив на место их нового воззрения, и логика положения заставила историков, мнимо отвергших божественную власть царей и фатум древних, прийти другим путем к тому же самому: к признанию того, что: 1) народы руководятся единичными людьми и 2) что существует известная цель, к которой движутся народы и человечество.

Во всех сочинениях новейших историков от Гибона до Бокля, несмотря на их кажущееся разногласие и на кажущуюся новизну их воззрений, лежат в основе эти два старые неизбежные положения.

Во-первых, историк описывает деятельность отдельных лиц, по его мнению, руководивших человечеством (один считает таковыми одних монархов, полководцев, министров; другой — кроме монархов и ораторов — ученых реформаторов, философов и поэтов). Во-вторых, цель, к которой ведется человечество, известна историку (для одного цель эта есть величие римского, испанского, французского государства; для другого — это свобода, равенство, известного рода цивилизация маленького уголка мира, называемого Европою).

В 1789 году поднимается брожение в Париже; оно растет, разливается и выражается движением народов с запада на восток. Несколько раз движение это направляется на восток, приходит в столкновение с противодвижением с востока на запад; в 12-м году оно доходит до своего крайнего предела — Москвы, и, с замечательной симметрией, совершается противодвижение с востока на запад, точно так же, как и в первом движении, увлекая за собой серединные народы. Обратное движение доходит до точки исхода движения на западе — до Парижа, и затихает.

В этот двадцатилетний период времени огромное количество полей не паханы; дома сожжены; торговля переменяет направление; миллионы людей беднеют, бога-

текут, переселяются, и миллионы людей-христиан, исповедующих закон любви ближнего, убивают друг друга.

Что такое все это значит? Отчего произошло это? Что заставляло этих людей сжигать дома и убивать себе подобных? Какие были причины этих событий? Какая сила заставила людей поступать таким образом? Вот невольные, простодушные и самые законные вопросы, которые предлагает себе человечество, натыкаясь на памятники и предания прошедшего периода движения.

За разрешением этих вопросов здравый смысл человечества обращается к науке истории, имеющей целью самопознание народов и человечества.

Ежели бы история удержала воззрение древних, она бы сказала: божество, в награду или в наказание своему народу, дало Наполеону власть и руководило его волей для достижения своих божественных целей. И ответ был бы полный и ясный. Можно было веровать или не веровать в божественное значение Наполеона; но для верующего в него, во всей истории этого времени, все бы было понятно и не могло бы быть ни одного противоречия.

Но новая история не может отвечать таким образом. Наука не признает воззрения древних на непосредственное участие божества в делах человечества, и потому она должна дать другие ответы.

Новая история, отвечая на эти вопросы, говорит: вы хотите знать, что значит это движение, отчего оно произошло и какая сила произвела эти события? Слушайте.

«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек — Наполеон. Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться.

И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народа. И Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александр, с помощью советов Штейна и других, соединил Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и французы и союзники только смеялись. Наполеон же, проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты (в особенности Талейран, успевший сесть прежде другого на известное кресло и тем увеличивший границы Франции) разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми или несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это время Наполеон с батальоном приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы».

Напрасно подумали бы, что это есть насмешка, карикатура исторических описаний. Напротив, это есть самое мягкое выражение тех противоречивых и не отвечающих на вопросы ответов, которые дает *вся* история, от составителей мемуаров и историй отдельных государств

до общих историй и нового рода историй *культуры* того времени.

Странность и комизм этих ответов вытекают из того, что новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает.

Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то первый вопрос, без ответа на который все остальное непонятно, — следующий: какая сила движет народами? На этот вопрос новая история озабоченно рассказывает или то, что Наполеон был очень гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд, или еще то, что такие-то писатели написали такие-то книжки.

Все это очень может быть, и человечество готово на это согласиться; но оно не об этом спрашивает. Все это могло бы быть интересно, если бы мы признавали божественную власть, основанную на самой себе и всегда одинаковую, управляющею своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей; но власти этой мы не признаем, и потому, прежде чем говорить о Наполеонах, Людовиках и писателях, надо показать существующую связь между этими лицами и движением народов.

Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории.

История как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать эту новую силу известною, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений, невольно усомнится в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известна.

II

Какая сила движет народами?

Частные историки биографические и историки отдельных народов понимают эту силу как власть, присущую героям и владыкам. По их описаниям, события производятся исключительно волей Наполеонов, Александров или вообще тех лиц, которые описывает частный историк. Ответы, даваемые этого рода историками на вопрос о той силе, которая движет событиями, удовлетворительны, но

только до тех пор, пока существует один историк по каждому событию. Но как скоро историки различных национальностей и воззрений начинают описывать одно и то же событие, то ответы, ими даваемые, тотчас же теряют весь смысл, ибо сила эта понимается каждым из них не только различно, но часто совершенно противоположно. Один историк утверждает, что событие произведено властью Наполеона; другой утверждает, что оно произведено властью Александра; третий — что властью какого-нибудь третьего лица. Кроме того, историки этого рода противоречат один другому даже и в объяснениях той силы, на которой основана власть одного и того же лица. Тьер, бонапартист, говорит, что власть Наполеона была основана на его добродетели и гениальности, Lanfrey, республиканец, говорит, что она была основана на его мошенничестве и на обмане народа. Так что историки этого рода, взаимно уничтожая положения друг друга, тем самым уничтожают понятие о силе, производящей события, и не дают никакого ответа на существенный вопрос истории.

Общие историки, имеющие дело со всеми народами, как будто признают несправедливость воззрения частных историков на силу, производящую события. Они не признают этой силы как власть, присущую героям и владыкам, а признают ее результатом разнообразно направленных многих сил. Описывая войну или покорение народа, общий историк отыскивает причину события не во власти одного лица, но во взаимодействии друг на друга многих лиц, связанных с событием.

По этому воззрению власть исторических лиц, представляясь произведением многих сил, казалось бы, не может уже быть рассматриваема как сила, сама себе производящая события. Между тем общие историки в большей части случаев употребляют понятие о власти опять как силу, саму в себе производящую события и относящуюся к ним как причина. По их изложению, то историческое лицо есть произведение своего времени, и власть его есть только произведение различных сил; то власть его есть сила, производящая события. Гервинус, Шлоссер, например, и другие то доказывают, что Наполеон есть произведение революции, идей 1789 года и т. д., то прямо говорят, что поход 12-го года и другие не нравящиеся им события суть только произведения ложно направленной воли Наполеона и что самые идеи 1789-го

года были остановлены в своем развитии вследствие произвола Наполеона. Идеи революции, общее настроение произвело власть Наполеона. Власть же Наполеона подавила идеи революции и общее настроение.

Странное противоречие это не случайно. Оно не только встречается на каждом шагу, но из последовательного ряда таких противоречий составлены все описания общих историков. Противоречие это происходит оттого, что, вступив на почву анализа, общие историки останавливаются на половине дороги.

Для того, чтобы найти составляющие силы, равные составной или равнодействующей, необходимо, чтобы сумма составляющих равнялась составной. Это-то условие никогда не соблюдено общими историками, и потому, чтобы объяснить силу равнодействующую, они необходимо должны допускать, кроме недостаточных составляющих, еще необъясненную силу, действующую по составной.

Частный историк, описывая поход ли 13-го года или восстановление Бурбонов, прямо говорит, что события эти произведены волей Александра. Но общий историк Гервинус, опровергая это воззрение частного историка, стремится показать, что поход 13-го года и восстановление Бурбонов, кроме воли Александра, имели причинами деятельность Штейна, Меттерниха, m-me Staël, Талейрана, Фихте, Шатобриана и других. Историк, очевидно, разложил власть Александра на составные: Талейрана, Шатобриана и т. д.; сумма этих составных, то есть воздействие друг на друга Шатобриана, Талейрана, m-me Staël и других, очевидно, не равняется всей равнодействующей, то есть тому явлению, что миллионы французов покорились Бурбонам. Из того, что Шатобриан, m-me Staël и другие сказали друг другу такие-то слова, вытекает только их отношение между собой, но не покорение миллионов. И потому, чтобы объяснить, какие образом из этого их отношения вытекло покорение миллионов, то есть из составных, равных одному А, вытекла равнодействующая, равная тысяче А, историк необходимо должен допустить опять ту же силу власти, которую он отрицает, признавая ее результатом сил, то есть он должен допустить необъясненную силу, действующую по составной. Это самое и делают общие историки. И вследствие того не только противоречат частным историкам, но и сами себе.

Деревенские жители, которые, смотря по тому, хочется ли им дождя или вёдра, не имея ясного понятия о при-

чинах дождя, говорят: ветер разогнал тучи и ветер нагнал тучи. Так точно общие историки: иногда, когда им этого хочется, когда это подходит к их теории, говорят, что власть есть результат событий; а иногда, когда нужно доказать другое, — они говорят, что власть производит события.

Третьи историки, называющиеся историками *культуры*, следуя по пути, проложенному общими историками, признающими иногда писателей и дам силами, производящими события, еще совершенно иначе понимают эту силу. Они видят ее в так называемой культуре, в умственной деятельности.

Историки культуры совершенно последовательны по отношению к своим родоначальникам, — общим историкам, ибо если исторические события можно объяснить тем, что некоторые люди так-то и так-то относились друг к другу, то почему не объяснять их тем, что такие-то люди писали такие-то книжки? Эти историки из всего огромного числа признаков, сопровождающих всякое живое явление, выбирают признак умственной деятельности и говорят, что этот признак есть причина. Но, несмотря на все их старания показать, что причина события лежала в умственной деятельности, только с большой уступчивостью можно согласиться с тем, что между умственной деятельностью и движением народов есть что-то общее, но уже ни в каком случае нельзя допустить, чтобы умственная деятельность руководила деятельностью людей, ибо такие явления, как жесточайшие убийства французской революции, вытекающие из проповеди о равенстве человека, и злейшие войны и казни, вытекающие из проповеди о любви, не подтверждают этого предположения.

Но, допустив даже, что справедливы все хитросплетенные рассуждения, которыми наполнены эти истории; допустив, что народы управляются какой-то неопределимой силой, называемой *идеей*, — существенный вопрос истории все-таки или остается без ответа, или к прежней власти монархов и к вводимому общими историками влиянию советчиков и других лиц присоединяется еще новая сила *идеи*, связь которой с массами требует объяснения. Возможно понять, что Наполеон имел власть, и потому совершилось событие; с некоторой уступчивостью можно еще понять, что Наполеон, вместе с другими влияниями, был причиной события; но каким образом книга Contrat

Social[1] сделала то, что французы стали топить друг друга, — не может быть понято без объяснения причинной связи этой новой силы с событием.

Несомненно, существует связь между всем одновременно живущим, и потому есть возможность найти некоторую связь между умственной деятельностью людей и их историческим движением, точно так же, как эту связь можно найти между движением человечества и торговлей, ремеслами, садоводством и чем хотите. Но почему умственная деятельность людей представляется историками культуры причиной или выражением всего исторического движения — это понять трудно. К такому заключению историков могли привести только следующие соображения: 1) что история пишется учеными, и потому им естественно и приятно думать, что деятельность их сословия есть основание движения всего человечества, точно так же, как это естественно и приятно думать купцам, земледельцам, солдатам (это не высказывается только потому, что купцы и солдаты не пишут истории), и 2) что духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея — все это понятия неясные, неопределенные, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие еще менее ясного значения и потому легко подставляемые под всякие теории.

Но, не говоря о внутреннем достоинстве этого рода историй (может быть, они для кого-нибудь или для чего-нибудь и нужны), истории культуры, к которым начинают более и более сводиться все общие истории, знаменательны тем, что они, подробно и серьезно разбирая различные религиозные, философские, политические учения как причины событий, всякий раз, как им только приходится описать действительное историческое событие, как, например, поход 12-го года, описывают его невольно как произведение власти, прямо говоря, что поход этот есть произведение воли Наполеона. Говоря таким образом, историки культуры невольно противоречат самим себе или доказывают, что та новая сила, которую они придумали, не выражает исторических событий, а что единственное средство понимать историю есть та власть, которой они будто бы не признают.

---

[1] Общественный договор *(франц.)*.

III

Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: это черт движет его. Другой говорит, что паровоз идет оттого, что в нем движутся колеса. Третий утверждает, что причина движения заключается в дыме, относимом ветром.

Мужик неопровержим. Для того чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба не правы. Но тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо, если он вступил на почву анализа, он должен идти дальше и дальше: он должен объяснить причину движения колес. И до тех пор, пока он не придет к последней причине движения паровоза, к сжатому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причины. Тот же, который объяснял движение паровоза относимым назад дымом, заметив, что объяснение о колесах не дает причины, взял первый попавшийся признак и, с своей стороны, выдал его за причину.

Единственное понятие, которое может объяснить движение паровоза, есть понятие силы, равной видимому движению.

Единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов.

Между тем под понятием этим разумеются различными историками совершенно различные и все не равные видимому движению силы. Одни видят в нем силу, непосредственно присущую героям, — как мужик, черта в паровозе; другие — силу, производную из других некоторых сил, — как движение колес; третьи — умственное влияние, — как относимый дым.

До тех пор, пока пишутся истории отдельных лиц, — будь они Кесари, Александры или Лютеры и Вольтеры, а не история *всех,* без одного исключения *всех* людей, принимающих участие в событии, — нет никакой возможности описывать движение человечества без понятия о силе, заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели. И единственное известное историкам такое понятие есть власть.

Понятие это есть единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как то сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с историческим материалом, только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним. Неизбежность понятия о власти для объяснения исторических явлений лучше всего доказывают сами общие историки и историки культуры, мнимо отрешающиеся от понятия о власти и неизбежно на каждом шагу употребляющие его.

Историческая наука до сих пор по отношению к вопросам человечества подобна обращающимся деньгам — ассигнациям и звонкой монете. Биографические и частные народные истории подобны ассигнациям. Они могут ходить и обращаться, удовлетворяя своему назначению, без вреда кому бы то ни было и даже с пользой, до тех пор пока не возникнет вопрос о том, чем они обеспечены. Стоит только забыть про вопрос о том, каким образом воля героев производит события, и истории Тьеров будут интересны, поучительны и, кроме того, будут иметь оттенок поэзии. Но точно так же, как сомнение в действительной стоимости бумажек возникнет или из того, что так как их делать легко, то начнут их делать много, или из того, что захотят взять за них золото, — точно также возникает сомнение в действительном значении историй этого рода, — или из того, что их является слишком много, или из того, что кто-нибудь в простоте души спросит: какою же силой сделал это Наполеон? то есть захочет разменять ходячую бумажку на чистое золото действительного понятия.

Общие же историки и историки культуры подобны людям, которые, признав неудобство ассигнаций, решили бы вместо бумажки сделать звонкую монету из металла, не имеющего плотности золота. И монета действительно вышла бы *звонкая,* но только *звонкая.* Бумажка еще могла обманывать не знающих; а монета звонкая, но не ценная, не может обмануть никого. Так же как золото только тогда золото, когда оно может быть употреблено не для одной мены, а и для дела, так же и общие историки только тогда будут золотом, когда они будут в силах ответить на существенный вопрос истории: что такое власть? Общие историки отвечают на этот вопрос противоречиво, а историки культуры вовсе отстраняют его, отвечая на что-то совсем другое. И как жетоны, похожие на золото, могут быть только употребляемы между собранием людей,

согласившихся признавать их за золото, и между теми, которые не знают свойства золота, так и общие историки и историки культуры, не отвечая на существенные вопросы человечества, для каких-то своих целей, служат ходячей монетою университетам и толпе читателей — охотников до серьезных книжек, как они это называют.

IV

Отрешившись от воззрения древних на божественное подчинение воли народа одному избранному и на подчинение этой воли божеству, история не может сделать ни одного шага без противоречия, не выбрав одного из двух: или возвратиться к прежнему верованию в непосредственное участие божества в делах человечества, или определенно объяснить значение той силы, производящей исторические события, которая называется властью.

Возвратиться к первому невозможно: верованье разрушено, и потому необходимо объяснить значение власти.

Наполеон приказал собрать войска и идти на войну. Представление это до такой степени нам привычно, до такой степени мы сжились с этим взглядом, что вопрос о том, почему шестьсот тысяч человек идут на войну, когда Наполеон сказал такие-то слова, кажется нам бессмысленным. Он имел власть, и потому было исполнено то, что он велел.

Ответ этот совершенно удовлетворителен, если мы верим, что власть дана была ему от бога. Но как скоро мы не признаем этого, необходимо определить, что такое эта власть одного человека над другими.

Власть эта не может быть той непосредственной властью физического преобладания сильного существа над слабым, преобладания, основанного на приложении или угрозе приложения физической силы, — как власть Геркулеса; она не может быть тоже основана на преобладании нравственной силы, как то, в простоте душевной, думают некоторые историки, говоря, что исторические деятели суть герои, то есть люди, одаренные особенной силой души и ума и называемой гениальностью. Власть эта не может быть основана на преобладании нравственной силы, ибо, не говоря о людях-героях, как Наполеоны, о нравственных достоинствах которых мнения весьма разноречивы,

история показывает нам, что ни Людовики XI-е, ни Меттернихи, управлявшие миллионами людей, не имели никаких особенных свойств силы душевной, а, напротив, были по большей части нравственно слабее каждого из миллионов людей, которыми они управляли.

Если источник власти лежит не в физических и не в нравственных свойствах лица, ею обладающего, то очевидно, что источник этой власти должен находиться вне лица — в тех отношениях к массам, в которых находится лицо, обладающее властью.

Так точно и понимает власть наука о праве, та самая разменная касса истории, обещающая разменять историческое понимание власти на чистое золото.

Власть есть совокупность воль масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей.

В области науки права, составленной из рассуждений о том, как бы надо было устроить государство и власть, если бы можно было все это устроить, все это очень ясно, но в приложении к истории это определение власти требует разъяснений.

Наука права рассматривает государство и власть, как древние рассматривали огонь, — как что-то абсолютно существующее. Для истории же государство и власть суть только явления, точно так же как для физики нашего времени огонь есть не стихия, а явление.

От этого-то основного различия воззрения истории и науки права происходит то, что наука права может рассказать подробно о том, как, по ее мнению, надо бы устроить власть и что такое есть власть, неподвижно существующая вне времени; но на вопросы исторические о значении видоизменяющейся во времени власти она не может ответить ничего.

Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воль, то Пугачев есть ли представитель воль масс? Если не есть, то почему Наполеон I есть представитель? Почему Наполеон III, когда его поймали в Булони, был преступник, а потом были преступники те, которых он поймал?

При дворцовых революциях, в которых участвуют иногда два-три человека, переносится ли тоже воля масс на новое лицо? При международных отношениях переносится ли воля масс народа на своего завоевателя? в 1808-м году воля Рейнского Союза была ли перенесена на Напо-

леона? Воля массы русского народа была ли перенесена на Наполеона во время 1809 года, когда наши войска в союзе с французами шли воевать против Австрии?

На эти вопросы можно отвечать трояко:

Или 1) признать, что воля масс всегда безусловно передается тому или тем правителям, которых они избрали, и что поэтому всякое возникновение новой власти, всякая борьба против раз переданной власти должна быть рассматриваема только как нарушение настоящей власти.

Или 2) признать, что воля масс переносится на правителей условно под определенными и известными условиями, и показать, что все стеснения, столкновения и даже уничтожения власти происходят от несоблюдения правителями тех условий, под которыми им передана власть.

Или 3) признать, что воля масс переносится на правителей условно, но под условиями неизвестными, неопределенными, и что возникновение многих властей, борьба их и падение происходят только от большего или меньшего исполнения правителями тех неизвестных условий, на которых переносятся воли масс с одних лиц на другие.

Так трояко и объясняют историки отношения масс к правителям.

Одни историки, не понимая, в простоте душевной вопроса о значении власти, те самые частные и биографические историки, о которых было говорено выше, признают как будто то, что совокупность воль масс переносится на исторические лица безусловно, и потому, описывая какую-нибудь одну власть, эти историки предполагают, что эта самая власть есть одна абсолютная и настоящая, а что всякая другая сила, противодействующая этой настоящей власти, есть не власть, а нарушение власти — насилие.

Теория их, годная для первобытных и мирных периодов истории, в приложении к сложным и бурным периодам жизни народов, во время которых возникают одновременно и борются между собой различные власти, имеет то неудобство, что историк-легитимист будет доказывать, что Конвент, Директория и Бонапарт были только нарушения власти, а республиканец и бонапартист будут доказывать: один, что Конвент, а другой, что Империя была настоящей властью, а что все остальное было нарушение власти. Очевидно, что таким образом, взаимно опровергая друг друга, объяснения власти этих историков могут годиться только для детей в самом нежном возрасте.

Признавая ложность этого взгляда на историю, другой род историков говорит, что власть основана на условной передаче правителям совокупности воль масс и что исторические лица имеют власть только под условиями исполнения той программы, которую молчаливым согласием предписала им воля народа. Но в чем состоят эти условия, историки эти не говорят нам, или если и говорят, то постоянно противоречат один другому.

Каждому историку, смотря по его взгляду на то, что составляет цель движения народа, представляются эти условия в величии, богатстве, свободе, просвещении граждан Франции или другого государства. Но не говоря уже о противоречии историков о том, какие эти условия, допустив даже, что существует одна общая всем программа этих условий, мы найдем, что исторические факты почти всегда противоречат этой теории. Если условия, под которыми передается власть, состоят в богатстве, свободе, просвещении народа, то почему Людовики XIV-е и Иоанны IV-е спокойно доживают свои царствования, а Людовики XVI-и и Карлы I-е казнятся народами? На этот вопрос историки эти отвечают тем, что деятельность Людовика XIV-го, противная программе, отразилась на Людовике XVI-м. Но почему же она не отразилась на Людовике XIV и XV, почему именно она должна была отразиться на Людовике XVI? И какой срок этого отражения? На эти вопросы нет и не может быть ответов. Так же мало объясняется при этом воззрении причина того, что совокупность воль несколько веков не переносится с своих правителей и их наследников, а потом вдруг, в продолжение пятидесяти лет, переносится на Конвент, на Директорию, на Наполеона, на Александра, Людовика XVIII, опять на Наполеона, на Карла X, на Людовика-Филиппа, на республиканское правительство, на Наполеона III. При объяснении этих быстро совершающихся перенесений воль с одного лица на другое и в особенности при международных отношениях, завоеваниях и союзах историки эти невольно должны признать, что часть этих явлений уже не суть правильные перенесения воль, а случайности, зависящие то от хитрости, то от ошибки, или коварства, или слабости дипломата, или монарха, или руководителя партии. Так что бóльшая часть явлений истории — междоусобия, революции, завоевания — представляются этими историками уже не произведениями перенесения свободных воль, а произведением ложно направленной воли од-

ного или нескольких людей, то есть опять нарушениями власти. И потому исторические события и этого рода историками представляются отступлениями от теории.

Историки эти подобны тому ботанику, который, приметив, что некоторые растения выходят из семени в двух долях-листиках, настаивал бы на том, что все, что растет, растет только раздвояясь на два листика; и что пальма, и гриб, и даже дуб, разветвляясь в своем полном росте и не имея более подобия двух листиков, отступают от теории.

Третьи историки признают, что воля масс переносится на исторические лица условно, но что условия эти нам неизвестны. Они говорят, что исторические лица имеют власть только потому, что они исполняют перенесенную на них волю масс.

Но в таком случае, если сила, двигающая народами, лежит не в исторических лицах, а в самих народах, то в чем же состоит значение этих исторических лиц?

Исторические лица, говорят эти историки, выражают собою волю масс; деятельность исторических лиц служит представительницею деятельности масс.

Но в таком случае является вопрос, вся ли деятельность исторических лиц служит выражением воли масс или только известная сторона ее? Если вся деятельность исторических лиц служит выражением воли масс, как то и думают некоторые, то биографии Наполеонов, Екатерин, со всеми подробностями придворной сплетни, служат выражением жизни народов, что есть очевидная бессмыслица; если же только одна сторона деятельности исторического лица служит выражением жизни народов, как то и думают другие мнимо философы-историки, то для того, чтобы определить, какая сторона деятельности исторического лица выражает жизнь народа, нужно знать прежде, в чем состоит жизнь народа.

Встречаясь с этим затруднением, историки этого рода придумывают самое неясное, неосязаемое и общее отвлечение, под которое возможно подвести наибольшее число событий, и говорят, что в этом отвлечении состоит цель движения человечества. Самые обыкновенные, принимаемые почти всеми историками общие отвлечения суть: свобода, равенство, просвещение, прогресс, цивилизация, культура. Поставив за цель движения человечества какое-нибудь отвлечение, историки изучают людей, оставивших по себе наибольшее число памятников, — царей,

министров, полководцев, сочинителей, реформаторов, пап, журналистов, — по мере того как все эти лица, по их мнению, содействовали или противодействовали известному отвлечению. Но так как ничем не доказано, чтобы цель человечества состояла в свободе, равенстве, просвещении или цивилизации, и так как связь масс с правителями и просветителями человечества основана только на произвольном предположении, что совокупность воль масс всегда переносится на те лица, которые нам заметны, то и деятельность миллионов людей, переселяющихся, сжигающих дома, бросающих земледелие, истребляющих друг друга, никогда не выражается в описании деятельности десятка лиц, не сжигающих домов, не занимающихся земледелием, не убивающих себе подобных.

История на каждом шагу доказывает это. Брожение народов запада в конце прошлого века и стремление их на восток объясняется ли деятельностью Людовика XIV-го, XV-го и XVI-го, их любовниц, министров, жизнью Наполеона, Руссо, Дидерота, Бомарше и других?

Движение русского народа на восток, в Казань и Сибирь, выражается ли в подробностях больного характера Иоанна IV-го и его переписки с Курбским?

Движение народов во время крестовых походов объясняется ли изучением Готфридов и Людовиков и их дам? Для нас осталось непонятным движение народов с запада на восток, без всякой цели, без предводительства, с толпой бродяг, с Петром Пустынником. И еще более осталось непонятно прекращение этого движения тогда, когда ясно поставлена была историческими деятелями разумная, святая цель походов — освобождение Иерусалима. Папы, короли и рыцари побуждали народ к освобождению святой земли; но народ не шел, потому что та неизвестная причина, которая побуждала его прежде к движению, более не существовала. История Готфридов и миннезенгеров, очевидно, не может вместить в себя жизнь народов. И история Готфридов и миннезенгеров осталась историей Готфридов и миннезенгеров, а история жизни народов и их побуждений осталась неизвестной.

Еще менее объяснит нам жизнь народов история писателей и реформаторов.

История культуры объяснит нам побуждения, условия жизни и мысли писателя или реформатора. Мы узнаем, что Лютер имел вспыльчивый характер и говорил такие-то речи; узнаем, что Руссо был недоверчив и писал такие-

то книжки; но не узнаем мы, отчего после реформации резались народы и отчего во время французской революции казнили друг друга.

Если соединить обе эти истории вместе, как то и делают новейшие историки, то это будут истории монархов и писателей, а не история жизни народов.

V

Жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей, ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена. Теория о том, что связь эта основана на перенесении совокупности воль на исторические лица, есть гипотеза, не подтверждаемая опытом истории.

Теория о перенесении совокупности воль масс на исторические лица, может быть, весьма много объясняет в области науки права и, может быть, необходима для своих целей; но в приложении к истории, как только являются революции, завоевания, междоусобия, как только начинается история, — теория эта ничего не объясняет.

Теория эта кажется неопровержимой именно потому, что акт перенесения воль народа не может быть проверен, так как он никогда не существовал.

Какое бы ни совершилось событие, кто бы ни стал во главе события, теория всегда может сказать, что такое лицо стало во главе события, потому что совокупность воль была перенесена на него.

Ответы, даваемые этой теорией на исторические вопросы, подобны ответам человека, который, глядя на двигающееся стадо и не принимая во внимание ни различной доброты пастбища в разных местах поля, ни погони пастуха, судил бы о причинах того или другого направления стада по тому, какое животное идет впереди стада.

«Стадо идет по этому направлению потому, что впереди идущее животное ведет его, и совокупность воль всех остальных животных перенесена на этого правителя стада». Так отвечает первый разряд историков, признающих безусловную передачу власти.

«Ежели животные, идущие во главе стада, переменяются, то это происходит оттого, что совокупность воль всех животных переносится с одного правителя на другого, смотря по тому, ведет ли это животное по тому

направлению, которое избрало все стадо». Так отвечают историки, признающие, что совокупность воль масс переносится на правителей под условиями, которые они считают известными. (При таком приеме наблюдения весьма часто бывает, что наблюдатель, сообразуясь с избранным им направлением, считает вожаками тех, которые по случаю перемены направления масс не суть уже передовые, а боковые, а иногда задние.)

«Если беспрестанно переменяются стоящие во главе животные и беспрестанно переменяются направления всего стада, то это происходит оттого, что для достижения того направления, которое нам известно, животные передают свои воли тем животным, которые нам заметны, и для того, чтобы изучать движение стада, надо наблюдать всех заметных нам животных, идущих со всех сторон стада». Так говорят историки третьего разряда, признающие выражениями своего времени все исторические лица, от монархов до журналистов.

Теория перенесения воль масс на исторические лица есть только перифраза — только выражение другими словами слов вопроса.

Какая причина исторических событий? — Власть. Что есть власть? — Власть есть совокупность воль, перенесенных на одно лицо. При каких условиях переносятся воли масс на одно лицо? — При условиях выражения лицом воли всех людей. То есть власть есть власть. То есть власть есть слово, значение которого нам непонятно.

Если бы область человеческого знания ограничивалась одним отвлеченным мышлением, то, подвергнув критике то объяснение власти, которое дает *наука,* человечество пришло бы к заключению, что власть есть только слово и в действительности не существует. Но для познавания явлений, кроме отвлеченного мышления, человек имеет орудие опыта, на котором он поверяет результаты мышления. И опыт говорит, что власть не есть слово, но действительно существующее явление.

Не говоря о том, что без понятия власти не может обойтись ни одно описание совокупной деятельности людей, существование власти доказывается как историею, так и наблюдением современных событий.

Всегда, когда совершается событие, является человек, или люди, по воле которых событие представляется совер-

шившимся. Наполеон III предписывает, и французы идут в Мексику. Прусский король и Бисмарк предписывают, и войска идут в Богемию. Наполеон I приказывает, и войска идут в Россию. Александр I приказывает, и французы покоряются Бурбонам. Опыт показывает нам, что какое бы ни совершилось событие, оно всегда связано с волею одного или нескольких людей, которые его приказали.

Историки, по старой привычке признания божественного участия в делах человечества, хотят видеть причину события в выражении воли лица, облеченного властью; но заключение это не подтверждается ни рассуждением, ни опытом.

С одной стороны, рассуждение показывает, что выражение воли человека — его слова — суть только часть общей деятельности, выражающейся в событии, как, например, в войне или революции; и потому, без признания непонятной, сверхъестественной силы — чуда, нельзя допустить, чтобы слова могли быть непосредственной причиной движения миллионов; с другой стороны, если даже допустить, что слова могут быть причиной события, то история показывает, что выражения воли исторических лиц в бо́льшей части случаев не производят никакого действия, то есть что приказания их часто не только не исполняются, но что иногда происходит даже совершенно обратное тому, что ими приказано.

Не допуская божественного участия в делах человечества, мы не можем принимать власть за причину событий.

Власть, с точки зрения опыта, есть только зависимость, существующая между выражением воли лица и исполнением этой воли другими людьми.

Для того чтобы объяснить себе условия этой зависимости, мы должны восстановить прежде всего понятие выражения воли, относя его к человеку, а не к божеству.

Если божество отдает приказание, выражает свою волю, как то нам показывает история древних, то выражение этой воли не зависит от времени и ничем не вызвано, так как божество ничем не связано с событием. Но, говоря о приказаниях — выражении воли людей, действующих во времени и связанных между собой, мы, для того чтобы объяснить себе связь приказаний с событиями, должны восстановить: 1) условие всего совершающегося: непре-

рывность движения во времени как событий, так и приказывающего лица, и 2) условие необходимой связи, в которой находится приказывающее лицо к тем людям, которые исполняют его приказание.

VI

Только выражение воли божества, не зависящее от времени, может относиться к целому ряду событий, имеющему совершиться через несколько лет или столетий, и только божество, ничем не вызванное, по одной своей воле может определить направление движения человечества; человек же действует во времени и сам участвует в событии.

Восстановляя первое упущенное условие — условие времени, мы увидим, что ни одно приказание не может быть исполнено без того, чтобы не было предшествовавшего приказания, делающего возможным исполнение последнего.

Никогда ни одно приказание не появляется самопроизвольно и не включает в себя целого ряда событий; но каждое приказание вытекает из другого и никогда не относится к целому ряду событий, а всегда только к одному моменту события.

Когда мы говорим, например, что Наполеон приказал войскам идти на войну, мы соединяем в одно одновременно выраженное приказание ряд последовательных приказаний, зависевших друг от друга. Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его. Он приказал нынче написать такие-то бумаги в Вену, в Берлин и в Петербург; завтра — такие-то декреты и приказы по армии, флоту и интендантству и т. д., и т. д., — миллионы приказаний, из которых составился ряд приказаний, соответствующих ряду событий, приведших французские войска в Россию.

Если Наполеон во все свое царствование отдает приказания об экспедиции в Англию, ни на одно из своих предприятий не тратит столько усилий и времени и, несмотря на то, во все свое царствование даже ни разу не пытается исполнить своего намерения, а делает экспедицию в Россию, с которой он, по неоднократно высказываемому убеждению, считает выгодным быть в союзе, то это происходит оттого, что первые приказания не соответствовали, а вторые соответствовали ряду событий.

Для того чтобы приказание было наверное исполнено, надо, чтобы человек выразил такое приказание, которое могло бы быть исполнено. Знать же то, что может и что не может быть исполнено, невозможно не только для наполеоновского похода на Россию, где принимают участие миллионы, но и для самого несложного события, ибо для исполнения того и другого всегда могут встретиться миллионы препятствий. Всякое исполненное приказание есть всегда одно из огромного количества неисполненных. Все невозможные приказания не связываются с событием и не бывают исполнены. Только те, которые возможны, связываются в последовательные ряды приказаний, соответствующие рядам событий, и бывают исполнены.

Ложное представление наше о том, что предшествующее событию приказание есть причина события, происходит оттого, что когда событие совершилось и те одни из тысячи приказаний, которые связались с событиями, исполнились, то мы забываем о тех, которые не были, потому что не могли быть исполнены. Кроме того, главный источник заблуждения нашего в этом смысле происходит оттого, что в историческом изложении целый ряд бесчисленных, разнообразных, мельчайших событий, как, например, все то, что привело войска французские в Россию, обобщается в одно событие по тому результату, который произвел этот ряд событий, и соответственно этому обобщению обобщается и весь ряд приказаний в одно выражение воли.

Мы говорим: Наполеон захотел и сделал поход на Россию. В действительности же мы никогда не найдем во всей деятельности Наполеона ничего подобного выражению этой воли, а увидим ряды приказаний или выражений его воли, самым разнообразным и неопределенным образом направленных. Из бесчисленного ряда неисполненных наполеоновских приказаний составился ряд исполненных приказаний для похода 12-го года не потому, чтобы приказания эти чем-нибудь отличались от других, неисполненных приказаний, а потому, что ряд этих приказаний совпал с рядом событий, приведших французские войска в Россию; точно так же, как в трафарете нарисуется такая или другая фигура не потому, в какую сторону и как мазать по нем красками, а потому, что по фигуре, вырезанной в трафарете, во все стороны, было мазано краской.

Так что, рассматривая во времени отношение приказаний к событиям, мы найдем, что приказание ни в каком случае не может быть причиной событий, а что между тем

и другим существует известная определенная зависимость.

Для того чтобы понять, в чем состоит эта зависимость, необходимо восстановить другое упущенное условие всякого приказания, исходящего не от божества, а от человека, и состоящее в том, что сам приказывающий человек участвует в событии.

Это-то отношение приказывающего к тем, кому он приказывает, и есть именно то, что называется властью. Отношение это состоит в следующем:

Для общей деятельности люди складываются всегда в известные соединения, в которых, несмотря на различие цели, поставленной для совокупного действия, отношение между людьми, участвующими в действии, всегда бывает одинаковое.

Складываясь в эти соединения, люди всегда становятся между собой в такое отношение, что наибольшее количество людей принимают наибольшее прямое участие и наименьшее количество людей — наименьшее прямое участие в том совокупном действии, для которого они складываются.

Из всех тех соединений, в которые складываются люди для совершения совокупных действий, одна из самых резких и определенных есть войско.

Всякое войско составляется из низших по военному званию членов: рядовых, которых всегда самое большое количество; из следующих по военному званию более высших чинов — капралов, унтер-офицеров, которых число меньше первого; еще высших, число которых еще меньше, и т. д. до высшей военной власти, которая сосредоточивается в одном лице.

Военное устройство может быть совершенно точно выражено фигурой конуса, в котором основание с самым большим диаметром будут составлять рядовые; высшее, меньшее основание, — высшие чины армии и т. д. до вершины конуса, точку которой будет составлять полководец.

Солдаты, которых наибольшее число, составляют низшие точки конуса и его основание. Солдат сам непосредственно колет, режет, жжет, грабит и всегда на эти действия получает приказание от вышестоящих лиц; сам же никогда не приказывает. Унтер-офицер (число унтер-офицеров уже меньше) реже совершает самое действие, чем солдат; но уже приказывает. Офицер еще реже совершает самое действие и еще чаще приказывает. Генерал уже

только приказывает идти войскам, указывая цель, и почти никогда не употребляет оружия. Полководец уже никогда не может принимать прямого участия в самом действии и только делает общие распоряжения о движении масс. То же отношение лиц между собою обозначается во всяком соединении людей для общей деятельности, — в земледелии, торговле и во всяком управлении.

Итак, не разделяя искусственно всех сливающихся точек конуса и чинов армии, или званий и положений какого бы то ни было управления, или общего дела, от низших до высших, обозначается закон, по которому люди для совершения совокупных действий слагаются всегда между собой в таком отношении, что, чем непосредственнее люди участвуют в совершении действия, тем менее они могут приказывать и тем их большее число; и что, чем меньше то прямое участие, которое люди принимают в самом действии, тем они больше приказывают и тем число их меньше; пока не дойдем таким образом, восходя от низших слоев, до одного последнего человека, принимающего наименьшее прямое участие в событии и более всех напрявляющего свою деятельность на приказывание.

Это-то отношение лиц приказывающих к тем, которым они приказывают, и составляет сущность понятия, называемого властью.

Восстановив условия времени, при которых совершаются все события, мы нашли, что приказание исполняется только тогда, когда оно относится к соответствующему ряду событий. Восстановляя же необходимое условие связи между приказывающим и исполняющим, мы нашли, что по самому свойству своему приказывающие принимают наименьшее участие в самом событии и что деятельность их исключительно направлена на приказывание.

VII

Когда совершается какое-нибудь событие, люди выражают свои мнения, желания о событии, и так как событие вытекает из совокупного действия многих людей, то одно из выраженных мнений, или желаний непременно исполняется хотя приблизительно. Когда одно из выраженных мнений исполнено, мнение это связывается с событием, как предшествовавшее ему приказание.

Люди тащат бревно. Каждый высказывает свое мнение о том, как и куда тащить. Люди вытаскивают бревно, и оказывается, что это сделано так, как сказал один из них. Он приказал. Вот приказание и власть в своем первобытном виде.

Тот, кто больше работал руками, мог меньше обдумывать то, что он делал, и соображать то, что может выйти из общей деятельности, и приказывать. Тот, кто больше приказывал, вследствие своей деятельности словами, очевидно, мог меньше действовать руками. При бо́льшем сборище людей, направляющих деятельность на одну цель, еще резче отделяется разряд людей, которые тем менее принимают прямое участие в общей деятельности, чем более деятельность их направлена на приказывание.

Человек, когда он действует один, всегда носит сам в себе известный ряд соображений, руководивших, как ему кажется, его прошедшей деятельностью, служащих для него оправданием его настоящей деятельности и руководящих его в предположении о будущих его поступках.

Точно то же делают сборища людей, предоставляя тем, которые не участвуют в действии, придумывать соображения, оправдания и предположения об их совокупной деятельности.

По известным или неизвестным нам причинам французы начинают топить и резать друг друга. И соответственно событию ему сопутствует его оправдание в выраженных волях людей о том, что это необходимо для блага Франции, для свободы, для равенства. Люди перестают резать друг друга, и событию этому сопутствует оправдание необходимости единства власти, отпора Европе и т. д. Люди идут с запада на восток, убивая себе подобных, и событию этому сопутствуют слова о славе Франции, низости Англии и т. д. История показывает нам, что эти оправдания события не имеют никакого общего смысла, противоречат сами себе, как убийство человека, вследствие признания его прав, и убийство миллионов в России для унижения Англии. Но оправдания эти в современном смысле имеют небоходимое значение.

Оправдания эти снимают нравственную ответственность с людей, производящих события. Временные цели эти подобны щеткам, идущим для очищения пути по рельсам впереди поезда: они очищают путь нравственной ответственности людей. Без этих оправданий не мог бы быть объяснен самый простой вопрос, представляющийся при

рассмотрении каждого события: каким образом миллионы людей совершают совокупные преступления, войны, убийства и т. д.?

При настоящих, усложненных формах государственной и общественной жизни в Европе возможно ли придумать какое бы то ни было событие, которое бы не было предписано, указано, приказано государями, министрами, парламентами, газетами? Есть ли какое-нибудь совокупное действие, которое не нашло бы себе оправдания в государственном единстве, в национальности, в равновесии Европы, в цивилизации? Так что всякое совершившееся событие неизбежно совпадает с каким-нибудь выраженным желанием и, получая себе оправдание, представляется как произведение воли одного или нескольких людей.

Куда бы ни направился движущийся корабль, впереди его всегда будет видна струя рассекаемых им волн. Для людей, находящихся на корабле, движение этой струи будет единственно заметное движение.

Только следя вблизи, момент за моментом, за движением этой струи и сравнивая это движение с движением корабля, мы убедимся, что каждый момент движения струи определяется движением корабля и что нас ввело в заблуждение то, что мы сами незаметно движемся.

То же самое мы увидим, следя момент за моментом за движением исторических лиц (то есть восстановляя необходимое условие всего совершающегося — условие непрерывности движения во времени) и не упуская из виду необходимой связи исторических лиц с массами.

Когда корабль идет по одному направлению, то впереди его находится одна и та же струя; когда он часто переменяет направление, то часто переменяются и бегущие впереди его струи. Но куда бы он ни повернулся, везде будет струя, предшествующая его движению.

Что бы ни совершилось, всегда окажется, что это самое было предвидено и приказано. Куда бы ни направлялся корабль, струя, не руководя, не усиливая его движения, бурлит впереди его и будет издали представляться нам не только произвольно движущейся, но и руководящей движением корабля.

Рассматривая только те выражения воли исторических лиц, которые отнеслись к событиям как приказания, историки полагали, что события находятся в зависимости от приказаний. Рассматривая же самые события и ту связь с массами, в которой находятся исторические лица, мы

нашли, что исторические лица и их приказания находятся в зависимости от события. Несомненным доказательством этого вывода служит то, что, сколько бы ни было приказаний, событие не совершится, если на это нет других причин; но как скоро совершится событие — какое бы то ни было, — то из числа всех беспрерывно выражаемых воль различных лиц найдутся такие, которые по смыслу и по времени отнесутся к событию как приказания.

Прийдя к этому заключению, мы можем прямо и положительно ответить на те два существенные вопроса истории:

1) Что есть власть?

2) Какая сила производит движение народов?

1) Власть есть такое отношение известного лица к другим лицам, в котором лицо это тем менее принимает участие в действии, чем более оно выражает мнения, предположения и оправдания совершающегося совокупного действия.

2) Движение народов производят не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали историки, но деятельность *всех* людей, принимающих участие в событии и соединяющихся всегда так, что те, которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на себя наименьшую ответственность; и наоборот.

В нравственном отношении причиною события представляется власть; в физическом отношении — те, которые подчиняются власти. Но так как нравственная деятельность немыслима без физической, то причина события находится ни в той, ни в другой, а в соединении обеих.

Или, другими словами, к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины неприложимо.

В последнем анализе мы приходим к кругу вечности, к той крайней грани, к которой во всякой области мышления приходит ум человеческий, если не играет своим предметом. Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются.

Говоря о взаимодействии тепла и электричества и об атомах, мы не можем сказать, почему это происходит, и говорим, что это так есть потому, что немыслимо иначе, потому что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений. Почему происходит война или революция? мы не знаем; мы знаем только, что

для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон.

VIII

Если бы история имела дело до внешних явлений, постановление этого простого и очевидного закона было бы достаточно, и мы бы кончили наше рассуждение. Но закон истории относится до человека. Частица материи не может сказать нам, что она вовсе не чувствует потребности притягиванья и отталкиванья и что это неправда; человек же, который есть предмет истории, прямо говорит: я свободен и потому не подлежу законам.

Присутствие хотя не высказанного вопроса о свободе воли человека чувствуется на каждом шагу истории.

Все серьезно мыслившие историки невольно приходили к этому вопросу. Все противоречия, неясности истории, тот ложный путь, по которому идет эта наука, основаны только на неразрешенности этого вопроса.

Если воля каждого человека была свободна, то есть что каждый мог поступить так, как ему захотелось, то вся история есть ряд бессвязных случайностей.

Если даже один человек из миллионов в тысячелетний период времени имел возможность поступить свободно, то есть так, как ему захотелось, то очевидно, что один свободный поступок этого человека, противный законам, уничтожает возможность существования каких бы то ни было законов для всего человечества.

Если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли, ибо воля людей должна подлежать этому закону.

В этом противоречии заключается вопрос о свободе воли, с древнейших времен занимавший лучшие умы человечества и с древнейших времен постановленный во всем его громадном значении.

Вопрос состоит в том, что, глядя на человека, как на предмет наблюдения с какой бы то ни было точки зрения, — богословской, исторической, этической, философской, — мы находим общий закон необходимости, которому он подлежит так же, как и все существующее. Глядя же

на него из себя, как на то, что мы сознаем, мы чувствуем себя свободными.

Сознание это есть совершенно отдельный и независимый от разума источник самопознавания. Чрез разум человек наблюдает сам себя; но знает он сам себя только через сознание.

Без сознания себя немыслимо и никакое наблюдение и приложение разума.

Для того чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человек должен прежде сознавать себя живущим. Живущим человек знает себя не иначе, как хотящим, то есть сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, человек сознает и не может сознавать иначе, как свободною.

Если, подвергая себя наблюдению, человек видит, что воля его направляется всегда по одному и тому же закону (наблюдает ли он необходимость принимать пищу, или деятельность мозга, или что бы то ни было), он не может понимать это всегда одинаковое направление своей воли иначе, как ограничением ее. То, что не было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Воля человека представляется ему ограниченною именно потому, что он сознает ее не иначе, как свободною.

Вы говорите: я не свободен. А я поднял и опустил руку. Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы.

Ответ этот есть выражение сознания, не подлежащего разуму.

Если бы сознание свободы не было отдельным и независимым от разума источником самопознания, оно бы подчинялось рассуждению и опыту; но в действительности такого подчинения никогда не бывает, и немыслимо.

Ряд опытов и рассуждений показывает каждому человеку, что он как предмет наблюдения подлежит известным законам, и человек подчиняется им и никогда не борется с раз узнанным им законом тяготения или непроницаемости. Но тот же ряд опытов и рассуждений показывает ему, что полная свобода, которую он сознает в себе, — невозможна, что всякое действие его зависит от его организации, от его характера и действующих на него мотивов; но человек никогда не подчиняется выводам этих опытов и рассуждений.

Узнав из опыта и рассуждения, что камень падает вниз, человек несомненно верит этому и во всех случаях ожидает исполнения узнанного им закона.

Но узнав так же несомненно, что воля его подлежит законам, он не верит и не может верить этому.

Сколько бы раз опыт и рассуждение ни показывали человеку, что в тех же условиях, с тем же характером он сделает то же самое, что и прежде, он, в тысячный раз приступая в тех же условиях, с тем же характером к действию, всегда кончавшемуся одинаково, несомненно чувствует себя столь же уверенным в том, что он может поступать, как он захочет, как и до опыта. Всякий человек, дикий и мыслитель, как бы неотразимо ему ни доказывали рассуждение и опыт то, что невозможно представить себе два поступка в одних и тех же условиях, чувствует, что без этого бессмысленного представления (составляющего сущность свободы) он не может себе представить жизни. Он чувствует, что, как бы это ни было невозможно, это есть; ибо без этого представления свободы он не только не понимал бы жизни, но не мог бы жить ни одного мгновения.

Он не мог бы жить потому, что все стремления людей, все побуждения к жизни суть только стремления к увеличению свободы. Богатство — бедность, слава — неизвестность, власть — подвластность, сила — слабость, здоровье — болезнь, образование — невежество, труд — досуг, сытость — голод, добродетель — порок суть только бóльшие или меньшие степени свободы.

Представить себе человека, не имеющего свободы, нельзя иначе, как лишенным жизни.

Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием, как возможность совершить два поступка в один и тот же момент времени или действие без причины, то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму.

Это-то непоколебимое, неопровержимое, не подлежащее опыту и рассуждению сознание свободы, признаваемое всеми мыслителями и ощущаемое всеми людьми без исключения, сознание, без которого немыслимо никакое представление о человеке, и составляет другую сторону вопроса.

Человек есть творение всемогущего, всеблагого и всеведущего бога. Что же такое есть грех, понятие о котором

вытекает из сознания свободы человека? вот вопрос богословия.

Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие о которой вытекает из сознания свободы? вот вопрос права.

Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? вот вопрос этики.

Человек, в связи с общей жизнью человечества, представляется подчиненным законам, определяющим эту жизнь. Но тот же человек, независимо от этой связи, представляется свободным. Как должна быть рассматриваема прошедшая жизнь народов и человечества — как произведение свободной или несвободной деятельности людей? вот вопрос истории.

Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества — распространению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, то есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороной вопроса, за разрешение всего вопроса.

Души и свободы нет, потому что жизнь человека выражается мускульными движениями, а мускульные движения обусловливаются нервной деятельностью; души и свободы нет, потому что мы в неизвестный период времени произошли от обезьян, — говорят, пишут и печатают они, вовсе и не подозревая того, что тысячелетия тому назад всеми религиями, всеми мыслителями не только признан, но никогда и не был отрицаем тот самый закон необходимости, который с таким старанием они стремятся доказать теперь физиологией и сравнительной зоологией. Они не видят того, что роль естественных наук в этом вопросе состоит только в том, чтобы служить орудием для освещения одной стороны его. Ибо то, что, с точки зрения наблюдения, разум и воля суть только отделения (sécrétion) мозга, и то, что человек, следуя общему закону, мог развиться из низших животных в неизвестный период времени, уясняет только с новой стороны тысячелетия тому назад признанную всеми религиями и философскими теориями истину о том, что, с точки зрения разума, человек

подлежит законам необходимости, но ни на волос не подвигает разрешение вопроса, имеющего другую, противоположную сторону, основанную на сознании свободы.

Если люди произошли от обезьян в неизвестный период времени, то это столь же понятно, как и то, что люди произошли от горсти земли в известный период времени (в первом случае X есть время, во втором — происхождение), и вопрос о том, каким образом соединяется сознание свободы человека с законом необходимости, которому подлежит человек, не может быть разрешен сравнительною физиологией и зоологией, ибо в лягушке, кролике и обезьяне мы можем наблюдать только мускульно-нервную деятельность, а в человеке — и мускульно-нервную деятельность и сознание.

Естествоиспытатели и их поклонники, думающие разрешать вопрос этот, подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну сторону стены церкви и которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса, и неутвержденные еще стены и радовались бы на то, как, с их штукатурной точки зрения, все выходит ровно и гладко.

IX

Разрешение вопроса о свободе и необходимости для истории — перед другими отраслями знания, в которых разрешался этот вопрос, — имеет то преимущество, что для истории вопрос этот относится не к самой сущности воли человека, а к представлению о проявлении этой воли в прошедшем и в известных условиях.

История по разрешению этого вопроса становится к другим наукам в положение науки опытной к наукам умозрительным.

История своим предметом имеет не самую волю человека, а наше представление о ней.

И потому для истории не существует, как для богословия, этики и философии, неразрешимой тайны о соединении двух противоречий свободы и необходимости. История рассматривает представление о жизни человека, в котором соединение этих двух противоречий уже совершилось.

В действительной жизни каждое историческое событие, каждое действие человека понимается весьма ясно

и определенно, без ощущения малейшего противоречия, несмотря на то, что каждое событие представляется частию свободным, частию необходимым.

Для разрешения вопроса о том, как соединяются свобода и необходимость и что составляет сущность этих двух понятий, философия истории может и должна идти путем, противным тому, по которому шли другие науки. Вместо того чтобы, определив в самих себе понятия о свободе и о необходимости, под составленные определения подводить явления жизни, — история из огромного количества подлежащих ей явлений, всегда представляющихся в зависимости от свободы и необходимости, должна вывести определение самих понятий о свободе и о необходимости.

Какое бы мы ни рассматривали представление о деятельности многих людей или одного человека, мы понимаем ее не иначе, как произведением отчасти свободы человека, отчасти законов необходимости.

Говоря ли о переселении народов и набегах варваров, или о распоряжениях Наполеона III, или о поступке человека, совершенном час тому назад и состоящем в том, что из нескольких направлений прогулки он выбрал одно, — мы не видим ни малейшего противоречия. Мера свободы и необходимости, руководившей поступками этих людей, ясно определена для нас.

Весьма часто представление о бо́льшей или меньшей свободе различно, смотря по различной точке зрения, с которой мы рассматриваем явление; но — всегда одинаково — каждое действие человека представляется нам не иначе, как известным соединением свободы и необходимости. В каждом рассматриваемом действии мы видим известную долю свободы и известную долю необходимости. И всегда, чем более в каком бы то ни было действии мы видим свободы, тем менее необходимости; и чем более необходимости, тем менее свободы.

Отношение свободы к необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок; но отношение это всегда остается обратно пропорциональным.

Человек тонущий, хватаясь за другого и потопляя его, или изнуренная кормлением ребенка голодная мать, крадущая пищу, или человек, приученный к дисциплине, по команде в строю убивающий беззащитного человека, — представляются менее виновными, то есть менее свобод-

ными и более подлежащими закону необходимости, тому, кто знает те условия, в которых находились эти люди, и более свободными тому, кто не знает, что тот человек сам тонул, что мать была голодна, солдат был в строю и т. д. Точно так же человек, двадцать лет тому назад совершивший убийство и после того спокойно и безвредно живший в обществе, представляется менее виновным; поступок его — более подлежавшим закону необходимости для того, кто рассматривает его поступок по истечении двадцати лет, и более свободным тому, кто рассматривал тот же поступок через день после того, как он был совершен. И точно так же каждый поступок человека сумасшедшего, пьяного или сильно возбужденного представляется менее свободным и более необходимым тому, кто знает душевное состояние того, кто совершил поступок, и более свободным и необходимым тому, кто этого не знает. Во всех этих случаях увеличивается или уменьшается понятие о свободе и, соответственно тому, уменьшается или увеличивается понятие о необходимости, — смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок. Так что, чем большая представляется необходимость, тем меньшая представляется свобода. И наоборот.

Религия, здравый смысл человечества, наука права и сама история одинаково понимают это отношение между необходимостью и свободой.

Все без исключения случаи, в которых увеличивается и уменьшается наше представление о свободе и о необходимости, имеют только три основания:

1) Отношение человека, совершившего поступок, к внешнему миру,

2) ко времени и

3) к причинам, произведшим поступок.

Первое основание есть большее или меньшее видимое нами отношение человека к внешнему миру, более или менее ясное понятие о том определенном месте, которое занимает каждый человек по отношению ко всему, одновременно с ним существующему. Это есть то основание, вследствие которого очевидно, что тонущий человек менее свободен и более подлежит необходимости, чем человек, стоящий на суше; то основание, вследствие которого действия человека, живущего в тесной связи с другими людьми в густонаселенной местности, действия человека, связанного семьей, службой, предприятиями, представляются несомненно менее свободными и более подлежащими

необходимости, чем действия человека одинокого и уединенного.

Если мы рассматриваем человека одного, без отношения его ко всему окружающему, то каждое действие его представляется нам свободным. Но если мы видим хоть какое-нибудь отношение его к тому, что окружает его, если мы видим связь его с чем бы то ни было — с человеком, который говорит с ним, с книгой, которую он читает, с трудом, которым он занят, даже с воздухом, который его окружает, с светом даже, который падает на окружающие его предметы, — мы видим, что каждое из этих условий имеет на него влияние и руководит хотя одной стороной его деятельности. И настолько, насколько мы видим этих влияний, — настолько уменьшается наше представление о его свободе и увеличивается представление о необходимости, которой он подлежит.

2) Второе основание есть: большее или меньшее видимое временное отношение человека к миру; более или менее ясное понятие о том месте, которое действие человека занимает во времени. Это есть то основание, вследствие которого падение первого человека, имевшее своим последствием происхождение рода человеческого, представляется, очевидно, менее свободным, чем вступление в брак современного человека. Это есть то основание, вследствие которого жизнь и деятельность людей, живших века тому назад, и связанная со мною во времени, не может представляться мне столь свободною, как жизнь современная, последствия которой мне еще неизвестны.

Постепенность представления о большей или меньшей свободе и необходимости в этом отношении зависит от большего или меньшего промежутка времени от совершения поступка до суждения о нем.

Если я рассматриваю поступок, совершенный мной минуту тому назад, при приблизительно тех же самых условиях, при которых я нахожусь теперь, — мой поступок представляется мне несомненно свободным. Но если я обсуживаю поступок, совершенный месяц тому назад, то, находясь в других условиях, я невольно признаю, что, если бы поступок этот не был совершен, — многое полезное, приятное и даже необходимое, вытекшее из этого поступка, не имело бы места. Если я перенесусь воспоминанием к поступку еще более отдаленному, за десять лет и далее, то последствия моего поступка представятся мне еще очевиднее; и мне трудно будет представить себе, что

бы было, если бы не было поступка. Чем дальше назад буду переноситься я воспоминаниями или, что то же самое, вперед суждением, тем рассуждение мое о свободе поступка будет становиться сомнительнее.

Точно ту же прогрессию убедительности об участии свободной воли в общих делах человечества мы находим и в истории. Совершившееся современное событие представляется нам несомненно произведением всех известных людей; но в событии более отдаленном мы видим уже его неизбежные последствия, помимо которых мы ничего другого не можем представить. И чем дальше переносимся мы назад в рассматривании событий, тем менее они нам представляются произвольными.

Австро-прусская война представляется нам несомненным последствием действий хитрого Бисмарка и т. п.

Наполеоновские войны, хотя уже сомнительно, но еще представляются нам произведениями воли героев; но в крестовых походах мы уже видим событие, определенно занимающее свое место и без которого немыслима новая история Европы, хотя точно так же для летописцев крестовых походов событие это представлялось только произведением воли некоторых лиц. В переселении народов, никому уже в наше время не приходит в голову, чтобы от произвола Аттилы зависело обновить европейский мир. Чем дальше назад мы переносим в истории предмет наблюдения, тем сомнительнее становится свобода людей, производивших события, и тем очевиднее закон необходимости.

3) Третье основание есть большая или меньшая доступность для нас той бесконечной связи причин, составляющей неизбежное требование разума и в которой каждое понимаемое явление, и потому каждое действие человека, должно иметь свое определенное место, как следствие для предыдущих и как причина для последующих.

Это есть то основание, вследствие которого действия свои и других людей представляются нам, с одной стороны, тем более свободными и менее подлежащими необходимости, чем более известны нам те выведенные из наблюдения физиологические, психологические и исторические законы, которым подлежит человек, и чем вернее усмотрена нами физиологическая, психологическая или историческая причина действия; с другой стороны, чем проще самое наблюдаемое действие и чем несложнее

характером и умом тот человек, действие которого мы рассматриваем.

Когда мы совершенно не понимаем причины поступка: в случае ли злодейства, добродетели или даже безразличного по добру и злу поступка, — мы в таком поступке признаем наибольшую долю свободы. В случае злодейства мы более всего требуем за такой поступок наказания; в случае добродетели — более всего ценим такой поступок. В безразличном случае признаем наибольшую индивидуальность, оригинальность, свободу. Но если хоть одна из бесчисленных причин известна нам, мы признаем уже известную долю необходимости и менее требуем возмездия за преступление, менее признаем заслуги в добродетельном поступке, менее свободы в казавшемся оригинальным поступке. То, что преступник был воспитан в среде злодеев, уже смягчает его вину. Самоотвержение отца, матери, самоотвержение с возможностью награды более понятно, чем беспричинное самоотвержение, и потому представляется менее заслуживающим сочувствия, менее свободным. Основатель секты, партии, изобретатель менее удивляют нас, когда мы знаем, как и чем была подготовлена его деятельность. Если мы имеем большой ряд опытов, если наблюдение наше постоянно направлено на отыскание соотношений в действиях людей между причинами и следствиями, то действия людей представляются нам тем более необходимыми и тем менее свободными, чем вернее мы связываем последствия с причинами. Если рассматриваемые действия просты и мы для наблюдения имели огромное количество таких действий, то представление наше об их необходимости будет еще полнее. Бесчестный поступок сына бесчестного отца, дурное поведение женщины, попавшей в известную среду, возвращение к пьянству пьяницы и т. п. суть поступки, которые тем менее представляются нам свободными, чем понятнее для нас причина. Если же и самый человек, действие которого мы рассматриваем, стоит на самой низкой степени развития ума, как ребенок, сумасшедший, дурачок, то мы зная причины действия и несложность характера и ума, уже видим столь большую долю необходимости и столь малую свободы, что как скоро нам известна причина, долженствующая произвести действие, мы можем предсказать поступок.

Только на этих трех основаниях строятся существующая во всех законодательствах невменяемость преступле-

ний и уменьшающие вину обстоятельства. Вменяемость представляется большею или меньшею, смотря по большему или меньшему знанию условий, в которых находился человек, поступок которого обсуживается, по бо́льшему или меньшему промежутку времени от совершения поступка до суждения о нем и по бо́льшему или меньшему пониманию причин поступка.

X

Итак, представление наше о свободе и необходимости постепенно уменьшается и увеличивается, смотря по большей или меньшей связи с внешним миром, по большему или меньшему отдалению времени и большей или меньшей зависимости от причин, в которых мы рассматриваем явление жизни человека.

Так что, если мы рассматриваем такое положение человека, в котором связь его с внешним миром наиболее известна, период времени суждения от времени совершения поступка наибольший и причины поступка наидоступнейшие, то мы получаем представление о наибольшей необходимости и наименьшей свободе. Если же мы рассматриваем человека в наименьшей зависимости от внешних условий; если действие его совершено в ближайший момент к настоящему и причины его действия нам недоступны, то мы получим представление о наименьшей необходимости и наибольшей свободе.

Но ни в том, ни в другом случае, как бы мы ни изменяли нашу точку зрения, как бы ни уясняли себе ту связь, в которой находится человек с внешним миром, или как бы ни доступна она нам казалась, как бы ни удлиняли или укорачивали период времени, как бы понятны или непостижимы ни были для нас причины — мы никогда не можем себе представить ни полной свободы, ни полной необходимости.

1) Как бы мы ни представляли себе человека исключенным от влияний внешнего мира, мы никогда не получим понятия о свободе в пространстве. Всякое действие человека неизбежно обусловлено и тем, что окружает его, самым телом человека. Я поднимаю руку и опускаю ее. Действие мое кажется мне свободным; но, спрашивая себя: мог ли я по всем направлениям поднять руку, — я вижу, что я поднял руку по тому направлению, по которому

для этого действия было менее препятствий, находящихся как в телах, меня окружающих, так и в устройстве моего тела. Если из всех возможных направлений я выбрал одно, то я выбрал его потому, что по этому направлению было меньше препятствий. Для того чтобы действие мое было свободным, необходимо, чтобы оно не встречало себе никаких препятствий. Для того чтобы представить себе человека свободным, мы должны представить его себе вне пространства, что очевидно невозможно.

2) Как бы мы ни приближали время суждения ко времени поступка, мы никогда не получим понятия свободы во времени. Ибо если я рассматриваю поступок, совершенный секунду тому назад, я все-таки должен признать несвободу поступка, так как поступок закован тем моментом времени, в котором он совершен. Могу ли я поднять руку? Я поднимаю ее; но спрашиваю себя: мог ли я не поднять руки в тот прошедший уже момент времени? Чтобы убедиться в этом, я в следующий момент не поднимаю руки. Но я не поднял руки не в тот первый момент, когда я спросил себя о свободе. Прошло время, удержать которое было не в моей власти, и та рука, которую я тогда поднял, и тот воздух, в котором я тогда сделал то движение, уже не тот воздух, который теперь окружает меня, и не та рука, которой я теперь не делаю движения. Тот момент, в который совершилось первое движение, невозвратим, и в тот момент я мог сделать только одно движение, и какое бы я ни сделал движение, движение это могло быть только одно. То, что я в следующую минуту не поднял руки, не доказало того, что я мог не поднять ее. И так как движение мое могло быть только одно, в один момент времени, то оно и не могло быть другое. Для того чтобы представить его себе свободным, надо представить его себе в настоящем, в грани прошедшего и будущего, то есть вне времени, что невозможно, и

3) Как бы ни увеличивалась трудность постижения причины, мы никогда не придем к представлению полной свободы, то есть к отсутствию причины. Как бы ни была непостижима для нас причина выражения воли в каком бы то ни было своем или чужом поступке, первое требование ума есть предположение и отыскание причины, без которой немыслимо никакое явление. Я поднимаю руку с тем, чтобы совершить поступок, независимый от всякой причины, но то, что я хочу совершить поступок, не имеющий причины, есть причина моего поступка.

Но даже если бы, представив себе человека совершенно исключенного от всех влияний, рассматривая только его мгновенный поступок настоящего и не вызванный никакой причиной, мы бы допустили бесконечно малый остаток необходимости равным нулю, мы бы и тогда не пришли к понятию о полной свободе человека; ибо существо, не принимающее на себя влияний внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек.

Точно так же мы никогда не можем представить себе действия человека без участия свободы и подлежащего только закону необходимости.

1) Как бы ни увеличивалось наше знание тех пространственных условий, в которых находится человек, знание это никогда не может быть полное, так как число этих условий бесконечно велико так же, как бесконечно пространство. И потому как скоро определены не *все* условия влияний на человека, то и нет полной необходимости, а есть известная доля свободы.

2) Как бы мы ни удлиняли период времени от того явления, которое мы рассматриваем, до времени суждения, период этот будет конечен, а время бесконечно, а потому и в этом отношении никогда не может быть полной необходимости.

3) Как бы ни была доступна цепь причин какого бы то ни было поступка, мы никогда не будем знать всей цепи, так как она бесконечна, и опять никогда не получим полной необходимости.

Но, кроме того, если бы даже, допустив остаток наименьшей свободы равным нулю, мы бы признали в каком-нибудь случае, как, например, в умирающем человеке, в зародыше, идиоте, полное отсутствие свободы, мы бы тем самым, уничтожили самое понятие о человеке, которое мы рассматриваем; ибо как только нет свободы, нет и человека. И потому представление о действии человека, подлежащем одному закону необходимости, без малейшего остатка свободы, так же невозможно, как и представление о вполне свободном действии человека.

Итак, для того чтобы представить себе действие человека, подлежащее одному закону необходимости, без свободы, мы должны допустить знание *бесконечного* количества пространственных условий, *бесконечного* великого периода времени и *бесконечного* ряда причин.

Для того чтобы представить себе человека совершенно свободного, не подлежащего закону необходимости, мы должны представить его себе одного *вне пространства, вне времени* и *вне зависимости от причин.*

В первом случае, если бы возможна была необходимость без свободы, мы бы пришли к определению закона необходимости тою же необходимостью, то есть к одной форме без содержания.

Во втором случае, если бы возможна была свобода без необходимости, мы бы пришли к безусловной свободе вне пространства, времени и причин, которая по тому самому что была бы безусловна и ничем не ограничивалась, была бы ничто или одно содержание без формы.

Мы бы пришли вообще к тем двум основаниям, из которых складывается все миросозерцание человека, — к непостижимой сущности жизни и к законам, определяющим эту сущность.

Разум говорит: 1) Пространство со всеми формами, которые дает ему видимость его — материя, — бесконечно и не может быть мыслимо иначе. 2) Время есть бесконечное движение без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. 3) Связь причин и последствий не имеет начал и не может иметь конца.

Сознание говорит: 1) Я один, и все, что существует, есть только я; следовательно, я включаю пространство; 2) я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим; следовательно, я вне времени, и 3) я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления своей жизни.

Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы.

Свобода, ничем не ограниченная, есть сущность жизни в сознании человека. Необходимость без содержания есть разум человека с его тремя формами.

Свобода есть то, что рассматривается. Необходимость есть то, что рассматривает. Свобода есть содержание. Необходимость есть форма.

Только при разъединении двух источников познавания, относящихся друг к другу, как форма к содержанию, получаются отдельно, взаимно исключающиеся и непостижимые понятия о свободе и о необходимости.

Только при соединении их получается ясное представление о жизни человека.

Вне этих двух взаимно определяющихся в соединении своем, — как форма с содержанием, — понятий невозможно никакое представление жизни.

Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, то есть сознания к законам разума.

Все, что мы знаем о внешнем мире природы, есть только известное отношение сил природы к необходимости или сущности жизни к законам разума.

Силы жизни природы лежат вне нас и не сознаваемы нами, и мы называем эти силы тяготением, инерцией, электричеством, животной силой и т. д.; но сила жизни человека сознаваема нами, и мы называем ее свободой.

Но точно так же, как непостижимая сама в себе сила тяготения, ощущаемая всяким человеком, только настолько понятна нам, насколько мы знаем законы необходимости, которой она подлежит (от первого знания, что все тела тяжелы, до закона Ньютона), точно так же и непостижимая, сама в себе, сила свободы, сознаваемая каждым, только настолько понятна нам, насколько мы знаем законы необходимости, которым она подлежит (начиная от того, что всякий человек умирает, и до знания самых сложных экономических или исторических законов).

Всякое знание есть только подведение сущности жизни под законы разума.

Свобода человека отличается от всякой другой силы тем, что сила эта сознаваема человеком; но для разума она ничем не отличается от всякой другой силы. Сила тяготенья, электричества или химического средства только тем и отличаются друг от друга, что силы эти различно определены разумом. Точно так же сила свободы человека для разума отличается от других сил природы только тем определением, которое ей дает этот разум. Свобода же без необходимости, то есть без законов разума, определяющих ее, ничем не отличается от тяготенья, или тепла, или силы растительности, — она есть для разума только мгновенное, неопределимое ощущение жизни.

И как неопределимая сущность силы, двигающей небесные тела, неопределимая сущность силы тепла, электричества, или силы химического средства, или жизненной силы составляют содержание астрономии, физики, химии, ботаники, зоологии и т. д., точно так же сущность силы

свободы составляет содержание истории. Но точно так же, как предмет всякой науки есть проявление этой неизвестной сущности жизни, сама же эта сущность может быть только предметом метафизики, — точно так же проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории; сама же свобода есть предмет метафизики.

В науках опытных то, что известно нам, мы называем законами необходимости; то, что неизвестно нам, мы называем жизненной силой. Жизненная сила есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о сущности жизни.

Точно так же в истории: то, что известно нам, мы называем законами необходимости; то, что неизвестно, — свободой. Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека.

XI

История рассматривает проявления свободы человека в связи с внешним миром во времени и в зависимости от причин, то есть определяет эту свободу законами разума, и потому история только настолько есть наука, насколько эта свобода определена этими законами.

Для истории признание свободы людей как силы, могущей влиять на исторические события, то есть не подчиненной законам, — есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных сил.

Признание это уничтожает возможность существования законов, то есть какого бы то ни было знания. Если существует хоть одно свободно двигающееся тело, то не существует более законов Кеплера и Ньютона и не существует более никакого представления о движении небесных тел. Если существует один свободный поступок человека, то не существует ни одного исторического закона и никакого представления об исторических событиях.

Для истории существуют линии движения человеческих воль, один конец которых скрывается в неведомом, а на другом конце которых движется в пространстве, во времени и в зависимости от причин сознание свободы людей в настоящем.

Чем более раздвигается перед нашими глазами это поприще движения, тем очевиднее законы этого движения. Уловить и определить эти законы составляет задачу истории.

С той точки зрения, с которой наука смотрит теперь на свой предмет, по тому пути, по которому она идет, отыскивая причины явлений в свободной воле людей, выражение законов для науки невозможно, ибо как бы мы ни ограничивали свободу людей, как только мы ее признали за силу, не подлежащую законам, существование закона невозможно.

Только ограничив эту свободу до бесконечности, то есть рассматривая ее как бесконечно малую величину, мы убедимся в совершенной недоступности причин, и тогда вместо отыскания причин история поставит своей задачей отыскание законов.

Отыскание этих законов уже давно начато, и те новые приемы мышления, которые должна усвоить себе история, вырабатываются одновременно с самоуничтожением, к которому, все дробя и дробя причины явлений, идет старая история.

По этому пути шли все науки человеческие. Придя к бесконечно малому, математика, точнейшая из наук, оставляет процесс дробления и приступает к новому процессу суммования неизвестных, бесконечно малых. Отступая от понятия о причине, математика отыскивает закон, то есть свойства, общие всем неизвестным бесконечно малым элементам.

Хотя и в другой форме, но по тому же пути мышления шли и другие науки. Когда Ньютон высказал закон тяготения, он не сказал, что солнце или земля имеет свойство притягивать; он сказал, что всякое тело, от крупнейшего до малейшего, имеет свойство как бы притягивать одно другое, то есть, оставив в стороне вопрос о причине движения тел, он выразил свойство, общее всем телам, от бесконечно великих до бесконечно малых. То же делают естественные науки: оставляя вопрос о причине, они отыскивают законы. На том же пути стоит и история. И если история имеет предметом изучения движения народов и человечества, а не описание эпизодов из жизни людей, то она должна, отстранив понятие причин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собою бесконечно малым элементам свободы.

XII

С тех пор как найден и доказан закон Коперника, одно признание того, что движется не солнце, а земля, уничтожило всю космографию древних. Можно было, опровергнув закон, удержать старое воззрение на движения тел, но, не опровергнув его, нельзя было, казалось, продолжать изучение птоломеевых миров. Но и после открытия закона Коперника птоломеевы миры еще долго продолжали изучаться.

С тех пор как первый человек сказал и доказал, что количество рождений или преступлений подчиняется математическим законам и что известные географические и политико-экономические условия определяют тот или другой образ правления, что известные отношения населения к земле производят движения народа, — с тех пор уничтожились в сущности своей те основания, на которых строилась история.

Можно было, опровергнув новые законы, удержать прежнее воззрение на историю, но, не опровергнув их, нельзя было, казалось, продолжать изучать исторические события как произведения свободной воли людей. Ибо если установился такой-то образ правления или совершилось такое-то движение народа вследствие таких-то географических, этнографических или экономических условий, то воля тех людей, которые представляются нам установившими образ правления или возбудившими движение народа, уже не может быть рассматриваема как причина.

А между тем прежняя история продолжает изучаться наравне с законами статистики, географии, политической экономии, сравнительной филологии и геологии, прямо противоречащими ее положениям.

Долго и упорно шла в физической философии борьба между старым и новым взглядом. Богословие стояло на страже за старый взгляд и обвиняло новый в разрушении откровения. Но когда истина победила, богословие построилось так же твердо на новой почве.

Так же долго и упорно идет борьба в настоящее время между старым и новым воззрением на историю, и точно так же богословие стоит на страже за старый взгляд и обвиняет новый в разрушении откровения.

Как в том, так и в другом случае с обеих сторон борьба вызывает страсти и заглушает истину. С одной

стороны, является борьба страха и жалости за все, веками воздвигнутое, здание; с другой — борьба страсти к разрушению.

Людям, боровшимся с возникавшей истиной физической философии, казалось, что, признай они эту истину, — разрушается вера в бога, в сотворение тверди, в чудо Иисуса Навина. Защитникам законов Коперника и Ньютона, Вольтеру, например, казалось, что законы астрономии разрушают религию, и он, как орудие против религии, употреблял законы тяготения.

Точно так же теперь кажется: стоит только признать закон необходимости, и разрушатся понятие о душе, о добре и зле и все воздвигнутые на этом понятии государственные и церковные учреждения.

Точно так же теперь, как Вольтер в свое время, непризванные защитники закона необходимости употребляют закон необходимости как орудие против религий; тогда как, — точно так же как и закон Коперника в астрономии, — закон необходимости в истории не только не уничтожает, но даже утверждает ту почву, на которой строятся государственные и церковные учреждения.

Как в вопросе астрономии тогда, как и теперь в вопросе истории, все различие воззрения основано на признании или непризнании абсолютной единицы, служащей мерилом видимых явлений. В астрономии это была неподвижность земли; в истории — это независимость личности — свобода.

Как для астрономии трудность признания движения земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности земли и такого же чувства движения планет, так и для истории трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности. Но, как в астрономии новое воззрение говорило: «Правда, мы не чувствуем движения земли, но, допустив ее неподвижность, мы приходим к бессмыслице; допустив же движение, которого мы не чувствуем, мы приходим к законам», — так и в истории новое воззрение говорит: «И правда, мы не чувствуем нашей зависимости, но, допустив нашу свободу, мы приходим к бессмыслице; допустив же

свою зависимость от внешнего мира, времени и причин, приходим к законам».

В первом случае надо было отказаться от сознания несуществующей неподвижности в пространстве и признать неощущаемое нами движение; в настоящем случае — точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость.

Конец

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КНИГИ «ВОЙНА И МИР».

Печатая сочинения, на которое положено мною пять лет непрестанного и исключительного труда, при наилучших условиях жизни, мне хотелось в предисловии к этому сочинению изложить мой взгляд на него и тем предупредить те недоумения, которые могут возникнуть в читателях. Мне хотелось, чтобы читатели не видели и не искали в моей книге того, чего я не хотел или не умел выразить, и обратили бы внимание на то именно, что я хотел выразить, но на чем (по условиям произведения) не считал удобным останавливаться. Ни время, ни мое уменье не позволили мне сделать вполне того, что я был намерен, и я пользуясь гостеприимством специального журнала для того, чтобы хотя неполно и кратко, для тех читателей, которых это может интересовать, изложить взгляд автора на свое произведение.

1) Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого Дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести.

2) Характер времени, как мне выражали некоторые читатели при появлении в печати первой части, недостаточно определен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить следующее. Я знаю, в чем состоит тот характер времени, которого не находят в моем романе, — это ужасы крепостного права, закладыванье жен в стены, сеченье взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.; и этот характер того времени, который живет в нашем представлении, — я не считаю верным и не желал выразить. Изучая письма, дневники, предания, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная, чем теперь, в вышем сословии. Ежели в понятии нашем составилось мнение о характере своевольства и грубой силы того времени, то только оттого, что в преданиях, записках, повестях и романах до нас доходили только выступающие случаи насилия и буйства. Заключать о том, что преобладающий характер того времени было буйство, так же несправедливо, как несправедливо заключил бы человек, из-за горы видящий одни макушки дерев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев. Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи), вытекающей из большей отчужденности высшего круга от других сословий, из царствовавшей философии, из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п. И этот характер я старался, сколько умел, выразить.

3) Употребление французского языка в русском сочинении. Для чего в моем сочинении говорят, не только русские, но и французы, частью по-русски, частью по-французски? Упрек в том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге, подобен тому упреку, который бы сделал человек, глядя на картину и заметив в ней черные пятна (тени), которых нет в действительности. Живописец неповинен в том, что некоторым — тень, сделанная им на лице картины, представляется черным пятном, которого не бывает в действительности: но живописец повинен только в том, ежели тени эти положены неверно и грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая лица русские известного общества, и Наполеона, и французов, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлекся формой выражения того

французского склада мысли больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того, что положенные мною тени, вероятно, неверны и грубы, я желал бы только, чтобы те, которым покажется очень смешно, как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали бы, что это им кажется только оттого, что они, как человек, смотрящий на портрет, видят не лицо с светом и тенями, а черное пятно под носом.

4) Имена действующих лиц: Болконский, Друбецкой, Билибин, Курагин и др. — напоминают известные русские имена. Сопоставляя действующие неисторические лица с другими историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха заставлять говорить графа Растопчина с князем Пронским, с Стрельским или с какими-нибудь другими князьями или графами вымышленной, двойной или одинокой фамилии. Болконский или Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой, звучат чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу. Я не умел придумать для всех лиц имен, которые мне показались бы не фальшивыми для уха, как Безухий и Ростов, и не умел обойти эту трудность иначе, как взяв наудачу самые знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые буквы. Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо; в особенности потому, что та литературная деятельность, которая состоит в описывании действительно существующих или существовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, которою я занимался.

М. Д. Афросимова и Денисов — вот исключительно лица, которым невольно и необдуманно я дал имена, близко подходящие к двум особенно характерным и милым действительным лицам тогдашнего общества. Это была моя ошибка, вытекшая из особенной характерности этих двух лиц, но ошибка моя в этом отношении ограничилась одною постановкою этих двух лиц; и читатели, вероятно, согласятся, что ничего похожего с действительностью не происходило с этими лицами. Все же остальные лица совершенно вымышленные и не имеют даже для меня определенных первообразов в предании или действительности.

5) Разногласие мое в описании исторических событий с рассказами историков. Оно не случайное, а неизбежное.

Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно различные предмета. Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом. Кутузов не всегда с зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади. Растопчин не всегда с факелом зажигал вороновский дом (он даже никогда этого не делал), и императрица Мария Федоровна не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись рукой на свод законов: а такими их представляет себе народное воображение.

Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле соответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди.

Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность с своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.

В описании самых событий различие еще резче и существеннее.

Историк имеет дело до результатов события, художник — до самого факта события. Историк, описывая сражение, говорит: левый фланг такого-то войска был двинут против деревни такой-то, сбил неприятеля, но принужден был оступить; тогда пущенная в атаку кавалерия опрокинула... и т. д. Историк не может говорить иначе. А между тем для художника слова эти не имеют никакого смысла и даже не затрогивают самого события. Художник, из своей ли опытности или по письмам, запискам и рассказам, выводит свое представление о совершившемся событии, и весьма часто (в примере сражения) вывод о деятельности таких-то и таких-то войск, который позволяет себе делать историк, оказывается противуположным выводу художника. Различие добытых результатов объясняется и теми источниками, из которых и тот и другой черпают свои сведения. Для историка (продолжаем пример сражения) главный источник есть донесения частных начальников и главнокомандующего. Художник из таких

источников ничего почерпнуть не может, они для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того, художник отворачивается от них, находя в них необходимую ложь. Нечего говорить уже о том, что при каждом сражении оба неприятеля почти всегда описывают сражение совершенно противуположно один другому; в каждом описании сражения есть необходимость лжи, вытекающая из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на нескольких верстах, находящихся в самом сильном нравственном раздражении под влиянием страха, позора и смерти.

В описаниях сражений пишется обыкновенно, что такие-то войска были направлены в атаку на такой-то пункт и потом велено отступать и т. д., как предполагая, что та самая дисциплина, которая покоряет десятки тысяч людей воле одного на плацу, будет иметь то же действие там, где идет дело жизни и смерти. Всякий, кто был на войне, знает, насколько это несправедливо;[1] а между тем на этом предположении основаны реляции, и на них военные описания. Объездите все войска тотчас после сражения, даже на другой, третий день, до тех пор, пока не написаны реляции, и спрашивайте у всех солдат, у старших и низших начальников о том, как было дело; вам будут рассказывать то, что испытывали и видели все эти люди, и в вас образуется величественное, сложное, до бесконечности разнообразное и тяжелое, неясное впечатление; и ни от кого, еще менее от главнокомандующего, вы не узнаете, как было все дело. Но через два-три дня начинают подавать реляции, говоруны начинают рассказывать, как было то, чего они не видали; наконец, составляется общее донесение, и по этому донесению составляется общее мнение армии. Каждому облегчительно променять свои сомнения и вопросы на это лживое, но ясное и всегда лестное представление. Через месяц и два расспрашивайте человека, участвовавшего в сражении, —

[1] После напечатания моей первой части и описания Шенграбенского сражения мне были переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карского об этом описании сражения, слова, подтвердившие мне мое убеждение. Ник. Ник. Муравьев, главнокомандующий, отозвался, что он никогда не читал более верного описания сражения и что он своим опытом убедился в том, как невозможно исполнение распоряжений главнокомандующего во время сражения.

уж вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, который был прежде, а он рассказывает по реляции. Так рассказывали мне про Бородинское сражение многие живые, умные участники этого дела. Все рассказывали одно и то же, и все по неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке и др.; даже подробности, которые рассказывали они, несмотря на то, что рассказчики находились на расстоянии нескольких верст друг от друга, одни и те же.

После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать. Все, испытавшие войну, знают, как способны русские делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, составления реляций и донесений, исполняют большей частью наши инородцы.

Все это я говорю к тому, чтобы показать неизбежность лжи в военных описаниях, служащих материалом для военных историков, и потому показать неизбежность частых несогласий художника с историком в понимании исторических событий. Но, кроме неизбежности неправды изложения исторических событий, у историков той эпохи, которая занимала меня, я встречал (вероятно, вследствие привычки группировать события, выражать их кратко и сообразжаться с трагическим тоном событий) особенный склад выспренной речи, в которой часто ложь и извращение переходят не только на события, но и на понимание значения события. Часто, изучая два главные исторические произведения этой эпохи, Тьера и Михайловского-Данилевского, я приходил в недоумение, каким образом могли быть печатаемы и читаемы эти книги. Не говоря уже об изложении одних и тех же событий самым серьезным, значительным тоном, с ссылками на материалы и диа-

метрально-противуположно один другому, я встречал в этих историках такие описания, что не знаешь, смеяться ли, или плакать, когда вспомнишь, что обе эти книги единственные памятники той эпохи и имеют миллионы читателей. Приведу только один пример из книги знаменитого историка Тьера. Рассказав, как Наполеон привез с собой фальшивых ассигнаций, он говорит: «Relevant l'emploi de ces moyens par un acte de bienfaisance *digne de lui et de l'armée francaise*, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux pour être donnés longtemps à des étrangers, la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de l'argent, et il leur fit distribuer des roubles papier» [1].

Это место поражает отдельно своей оглушающей, нельзя сказать безнравственностью, но просто бессмысленностью; но во всей книге оно не поражает, так как вполне соответствует общему выспренному, торжественному и не имеющему никакого прямого смысла тону речи.

Итак, задача художника и историка совершенно различна, и разногласие с историком в описании событий и лиц в моей книге — не должно поражать читателя.

Но художник не должен забывать, что представление об исторических лицах и событиях, составившееся в народе, основано не на фантазии, а на исторических документах, насколько могли их сгруппировать историки; а потому, иначе понимая и представляя эти лица и события, художник должен руководствоваться, как и историк, историческими материалами. *Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться.*

6) Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение касается того малого значения, которое, по моим

---

[1] Возмещая употребление этих средств делом благотворительности, достойным его и французской армии, он приказал оказывать пособие погоревшим. Но так как съестные припасы были слишком дороги и не представлялось далее возможности снабжать ими людей чужих, и по большей части неприязненных, то Наполеон предпочел оделять их деньгами, и для того были им выдаваемы бумажные рубли.

понятиям, имеют так называемые великие люди в исторических событиях.

Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событий и столь близкую к нам, о которой живо столько разнороднейших преданий, я пришел к очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся исторических событий. Сказать (что кажется всем весьма простым), что причины событий 12-го года состоят в завоевательном духе Наполеона и в патриотической твердости императора Александра Павловича так же бессмысленно, как сказать, что причины падения Римской империи заключаются в том, что такой-то варвар повел свои народы на запад, а такой-то римский император дурно управлял государством, или что огромная срываемая гора упала оттого, что последний работник ударил лопатой.

Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиной волю одного человека: как один человек не мог один подкопать гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч. Но какие же причины? Одни историки говорят, что причиной был завоевательный дух французов, патриотизм России. Другие говорят о демократическом элементе, который разносили полчища Наполеона, и о необходимости России вступить в связь с Европою и т. п. Но как же миллионы людей стали убивать друг друга, кто это велел им? Кажется, ясно для каждого, что от этого никому не могло быть лучше, а всем хуже; зачем же они это делали? Можно сделать и делают бесчисленное количество ретроспективных умозаключений о причинах этого бессмысленного события; но огромное количество этих объяснений и совпадение всех их к одной цели только доказывает то, что причин этих бесчисленное множество и что ни одну из них нельзя назвать причиной.

Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с сотворения мира известно, что это и физически и нравственно дурно?

Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли тот стихийный, зоологический закон, который исполняют пчелы, истребляя друг друга к осени, по которому самцы животных истребляют друг друга. Другого ответа нельзя дать на этот страшный вопрос.

Эта истина не только очевидна, но так прирожденна каждому человеку, что ее не стоило бы доказывать, ежели бы не было другого чувства и сознания в человеке, которое убеждает его, что он свободен во всякий момент, когда он совершает какое-нибудь действие.

Рассматривая историю с общей точки зрения, мы, несомненно, убеждены в предвечном законе, по которому совершаются события. Глядя с точки зрения личной, мы убеждены в противном.

Человек, который убивает другого, Наполеон, который отдает приказание к переходу через Неман, вы и я, подавая прошение об определении на службу, поднимая и опуская руку, мы все, несомненно, убеждены, что каждый поступок наш имеет основанием разумные причины и наш произвол и что от нас зависело поступить так или иначе, и это убеждение до такой степени присуще и дорого каждому из нас, что, несмотря на доводы истории и статистики преступлений, убеждающих нас в непроизвольности действий других людей, мы распространяем сознание нашей свободы на все наши поступки.

Противоречие кажется неразрешимым: совершая поступок, я убежден, что я совершаю его по своему произволу; рассматривая этот поступок в смысле его участия в общей жизни человечества (в его историческом значении), я убеждаюсь, что поступок этот был предопределен и неизбежен. В чем заключается ошибка?

Психологические наблюдения о способности человека ретроспективно подделывать мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных умозаключений (это я намерен изложить в другом месте более подробно) подтверждает предположение о том, что сознание свободы человека при совершении известного рода поступков ошибочно. Но те же психологические наблюдения доказывают, что есть другой род поступков, в которых сознание свободы не ретроспективно, а мгновенно и несомненно. Я, несомненно, могу, что бы ни говорили материалисты, совершить действие или воздержаться от него, как скоро действие это касается одного меня. Я, несомненно, по одной моей воле сейчас поднял и опустил руку. Я сейчас могу перестать писать. Вы сейчас можете перестать читать. Несомненно, по одной моей воле и вне всех препятствий я сейчас мыслью перенесся в Америку или к любому математическому вопросу. Я могу, испытывая

свою свободу, поднять и с силой опустить свою руку в воздухе. Я сделал это. Но подле меня стоит ребенок, я поднимаю над ним руку и с той же силой хочу опустить на ребенка. Я *не могу* этого сделать. На этого ребенка бросается собака, я *не могу* не поднять руку на собаку. Я стою во фронте и не могу не следовать за движениями полка. Я не могу в сражении не идти с своим полком в атаку и не бежать, когда все бегут вокруг меня. Я не могу, когда я стою на суде защитником обвиняемого, перестать говорить или знать то, что я буду говорить. Я не могу не мигнуть глазом против направленного в глаз удара.

Итак, есть два рода поступков. Одни зависящие, другие не зависящие от моей воли. И ошибка, производящая противоречие, происходит только оттого, что сознание свободы, законно сопутствующее всякому поступку, относящемся до моего я, до самой высшей отвлеченности моего существования, я неправильно переношу на мои поступки, совершаемые в совокупности с другими людьми и зависящие от совпадения других произволов с моим. Определить границу области свободы и зависимости весьма трудно, и определение этой границы составляет существенную и единственную задачу психологии: но, наблюдая за условиями проявления нашей наибольшей свободы и наибольшей зависимости, нельзя не видеть, что чем отвлеченнее и потому чем менее наша деятельность связана с деятельностями других людей, тем она свободнее, и наоборот, чем больше деятельность наша связано с другими людьми, тем она несвободнее.

Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с другими людьми есть так называемая власть над другими людьми, которая в своем истинном значении есть только наибольшая зависимость от них.

Ошибочно или нет, но, вполне убедившись в этом в продолжение моей работы, я, естественно, описывая исторические события 1807-го и особенно 1812 года, в котором наиболее выпукло выступает этот закон предопределения[1], я не мог приписывать значения деятельности тех людей, которым казалось, что они управляют событиями,

---

[1] Достойно замечания, что почти все писатели, писавшие о 12 годе, видели в этом событии что-то особенное и роковое.

но которые менее всех других участников событий вносили в него свободную человеческую деятельность. Деятельность этих людей была занимательна для меня только в смысле иллюстрации того закона предопределения, который, по моему убеждению, управляет историею, и того психологического закона, который заставляет человека, исполняющего самый несвободный поступок, подделывать в своем воображении целый ряд ретроспективных умозаключений, имеющих целью доказать ему самому его свободу.



ПРИМЕЧАНИЯ

«ВОЙНА И МИР» — РОМАН-ЭПОПЕЯ

1

К созданию «Войны и мира» Толстой пришел от замысла начатой в 1860 году повести «Декабристы». Декабристская тема определяла на раннем этапе работы композицию задуманного монументального произведения о почти полувековой истории русского общества (от 1812 до 1856 г.).

Толстовское «стремление дойти до корня» (В. И. Ленин), исследовать глубины исторического и личного бытия — замечательно сказалось в работе над великой эпопеей. В поисках истоков декабристского движения он неизбежно пришел к эпохе Отечественной войны, сформировавшей будущих дворянских революционеров. Преклонение перед героизмом и жертвенностью «лучших людей» начала прошлого века писатель сохранил на всю жизнь. Историческая подготовка движения декабристов нашла отражение и в завершенном романе. Но эта тема не заняла в нем главного места. Более того: в эпилоге «Войны и мира», вместе с рассказом о возвышенных мечтах Николеньки Болконского, иронически повествуется о гордых и самонадеянных рассуждениях Пьера Безухова, полагавшего, что деятельность небольшой группы людей в Петербурге способна переменить основы всей жизни России. Каким-то историческим инстинктом уже в 60-е годы Толстой догадывался, что декабристы были «страшно далеки от народа».

Шестидесятые годы обозначили в русской истории поворот к новой эпохе — подготовки первой русской революции, революционного пробуждения самих народных масс.

Толстой, надеясь на бескровное разрешение общественных конфликтов эпохи, переживал период страстного увлечения «педагогией». Это была не только новая система образования народа: писатель надеялся таким утопическим путем воздвигнуть идеальный социальный строй.

Вспоминая много лет спустя свое увлечение школой для крестьянских детей и деятельностью мирового посредника, Толстой писал П. И. Бирюкову, что он был тогда «возбужден и радостен... своими особенными, личными, внутренними мотивами», приведшими его «к школе и общению с народом» (т. 76, стр. 100—101). В сближении с народом Толстой искал и нашел выход из идейного и творческого кризиса, мучительно тяготившего его в конце 50-х годов.

В начале 60-х годов в мировоззрении Толстого происходят очень важные и значительные сдвиги. Он признает за народом решающую роль в историческом процессе. В таком представлении о роли народа в движении истории Толстой оказался близок взглядам революционных демократов (в особенности взглядам Герцена этой поры) и решительно разошелся с «прогрессистами»-либералами, спор с которыми он начал в повести «Декабристы» и педагогических статьях и продолжил на страницах «Войны и мира». Убеждениям «эмансипаторов»-революционеров он противопоставил свою теорию народа, как субстанции истории, как стихийной «роевой» силы, бессознательно направляющей ход исторического развития.

Призывая «привилегированное общество» прислушиваться к «могучему голосу народа», Толстой в то же время отказывал интеллигенции в праве воспитывать народ. Апология стихийного, «роевого» начала, патриархальных общественных отношений привела его к отрицанию исторического прогресса, к умалению роли личности в истории. Отрицательно относясь к революционным путям изменения жизни, Толстой был преисполнен глубочайшего доверия к стихийным основам народного бытия.

Пафос «Войны и мира» — в утверждении «мысли народной». Глубокий, хотя и своеобразный, демократизм автора обусловил необходимый для эпопеи угол зрения в оценке всех лиц и событий — на основе «мнения народного».

Далеко не случаен тот факт, что эпическое произведение литературы нового времени появилось именно в России. В 60-е годы, в самом начале исторического перелома, в ней еще не была полностью разрушена та патриархальная общность мира, которую прославил в своем романе Толстой. С другой стороны, эпоха пробуждения народных масс к исторической деятельности в период подготовки русской революции могла и должна была породить эпос Толстого, чье творчество явилось, по словам Ленина, «зеркалом русской революции».

Современники Толстого были, конечно, правы, когда увидели в идейных исканиях главных героев романа и в самом характере воплощения исторических событий начала XIX века черты эпохи

60-х годов. Только предреформенная и пореформенная русская действительность, когда державшиеся в течение веков общественные отношения пошли на слом с удивительной быстротой, могла породить реализм Толстого, для которого «диалектика души», движение характеров, противодействие героя социальной среде стали главным художественным принципом.

Уже в процессе поисков начала, составления конспектов и работы над первыми частями будущего большого произведения определились его главные черты романа-эпопеи, в котором рассказ об отдельных семьях и лицах, вымышленных и действительных, сочетается с раскрытием «характера русского народа и войска».

Отечественная война 1812 года, когда усилия всей русской нации, всего, что было живого и здорового в ней, были напряжены для отпора наполеоновскому нашествию, представила благодарный материал для такого произведения.

Раскрыть характер целого народа, характер, с одинаковой силой проявляющийся в мирной, повседневной жизни и в больших, этапных исторических событиях, во время военных неудач и поражений и в моменты наивысшей славы — такова важнейшая художественная задача «Войны и мира». Впервые Толстой ставил подобную цель в повести «Казаки», хотя и на сравнительно узком и специфическом жизненном материале. Именно в период работы над «Казаками», незадолго до начала «Войны и мира», Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен» (т. 48, стр. 48).

«Война и мир» — одно из немногих в мировой литературе XIX века произведений, к которому по праву прилагается наименование романа-эпопеи. События большого исторического масштаба, жизнь общая, а не частная, составляют основу ее содержания; в ней раскрыт исторический процесс, достигнут необычайно широкий охват русской жизни во всех ее слоях и вследствие этого так велико число действующих лиц, в частности, персонажей из народной среды; в ней показан русский национальный быт, и, главное, — история народа и путь лучших представителей дворянского класса к народу являются идейно-художественным стержнем произведения.

Эпическое начало связывает «Войну и мир» с Севастопольскими рассказами; повествование о нравственных, социальных, философских исканиях лучших героев романа развивает ту линию в творчестве Толстого, которая воплотилась в образах Николеньки Иртеньева, Дмитрия Нехлюдова, Оленина и продолжена в образах Левина и князя Нехлюдова.

Путь идейного и нравственного роста ведет положительных героев «Войны и мира», как всегда у Толстого, к сближению

с народом. Он еще не требует от дворянских героев разрыва с тем классом, к которому они принадлежат по рождению и воспитанию; но полное нравственное единение с народом уже становится критерием подлинно человеческого бытия.

Настойчиво подчеркивая независимость частной жизни людей от политической игры верхов — свиданий императоров, распоряжений полководцев, предначертаний государственных деятелей типа Сперанского, — Толстой неизменно замечает и показывает нерасторжимую связь судеб своих героев с жизнью народа, с исходом той борьбы, какую ведет весь русский народ. «Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти, не только над Болконским, но над всею Россией, заслонял все другие предположения», — пишет автор эпопеи в тот момент, когда, казалось бы, все действие романа должно быть сосредоточено именно на этих предположениях — то есть на судьбе вновь возродившейся любви Наташи Ростовой и Болконского.

Скрытый огонь народного патриотического чувства возникает в душах Андрея Болконского и его сестры, Наташи Ростовой и Пьера Безухова. На отчаянный крик смоленского дворника Ферапонтова: «Решилась! Расея!», как эхо, откликаются предсмертные рыдания старого князя Болконского: «Погибла Россия! Погубили...», тягостный вздох Кутузова: «До чего довели» и затем его дрожащий голос, произносящий: «Спасена Россия». Именно в крестьянской России Пьер видит «необычайно могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживает жизнь этого целого, особенного и единого народа».

Жизнеспособность каждого из персонажей «Войны и мира» поверяется «мыслью народной». Пьер остро чувствует свою ничтожность в сравнении с правдой, простотой и силой солдат и ополченцев на Бородинском поле. Но в народной среде оказываются нужными и лучшие качества Пьера — сила, пренебрежение к удобствам жизни, простота, бескорыстие. Идеалом, к которому он стремился во время войны и затем плена, становится желание «войти в эту общую жизнь, всем существом проникнуться тем, что делает их такими».

Высшая похвала Андрею Болконскому — прозвище «наш князь», данное ему солдатами полка. Глубокий смысл заключен в том, что слова «великого» Наполеона о «прекрасной смерти» князя Андрея на Аустерлицком поле звучат фальшиво и ничтожно, а похвала храбрости Болконского даже не названным по имени фейерверкером оказывается достойной и, главное, достаточной его оценкой.

Главные черты героини романа, Наташи Ростовой, с особенной яркостью раскрываются в тот момент, когда она, перед вступлением французов в Москву, заставляет сбросить с подвод семейное добро и взять раненых. В другую, счастливую и радостную, минуту, в русской пляске, в увлеченности народной музыкой проявляется вся сила заключенного в ней национального «духа». Точно так же скромная, необщительная, замкнутая в своем душевном мире Марья Болконская вдруг преображается и неизмеримо вырастает в наших глазах, когда она гневно отвергает предложение своей компаньонки, француженки Бурьен, покориться завоевателям и остаться во власти Наполеона.

Истинная значимость исторических лиц проверяется все тою же «мыслью народной». «Умные» предначертания Сперанского отвергаются, ибо они неприложимы к народной жизни и чужды ее интересам.

«Чистота нравственного чувства», которая составляет этический пафос «Войны и мира», утверждает истинность русского народного представления о величии: «Для нас нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

Наполеон подвергается уничтожающему разоблачению, потому что он избрал для себя преступную роль «палача народов»; Кутузов возвеличивается как полководец, умеющий подчинять все свои мысли и действия народному чувству. И «мнение народное» одобряет Кутузова на смотре под Красным; Наполеон свой приговор получает в следующем разговоре солдат:

«— А кабы на мой обычай, я бы его изловимши да в землю закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.

— Все одно конец сделаем, не будет ходить».

«Мысль народная» протестует против захватнических войн Наполеона и благословляет освободительную борьбу, в которой народ отстаивает свое право на независимость.

Такое отношение к войне усваивает и нерассуждающий рыцарь войны Николай Ростов, и ее строгий аналитик Андрей Болконский, и философ Пьер Безухов.

До «Войны и мира» в русской литературе не было произведения, где бы психология целого народа была воплощена с такой верностью и полнотой и, главное, была бы так близка к авторскому взгляду на мир. Недаром В. И. Ленин после чтения «Войны и мира» сказал: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Создатель «Утра помещика» и «Поликушки» превосходно знал быт деревенской России и тяжкие последствия крепостной зависимости крестьян. В «Войне и мире» «ужасы» крепостного права (которые Толстой не считал более вопиющими, чем со-

циальные бедствия современной ему полукрепостнической, капитализирующейся России) упоминаются вскользь. Мы узнаем, правда, о бедственном положении крестьян в имениях Пьера, о том, что Илагин отдал соседу-помещику за собаку Ерзу три семьи дворовых, о том, что старый князь Болконский, рассердившись, бросил костылем в Филиппа и тотчас сделал распоряжение об отдаче его в солдаты, — но обо всем этом говорится как бы мимоходом. Сцена богучаровского бунта — единственный яркий эпизод этого плана. Превосходно и верно рисуется здесь психология крестьян; самый их бунт объясняется как результат действия таинственных струй народной жизни, то есть имеются в виду причины глубокие и значительные, а не поверхностные и случайные. Но в контексте всего романа бунт богучаровских крестьян воспринимается как антипатриотический поступок, хотя и понятный: крестьяне наивно верили в то, что французский император даст им волю.

Социальные конфликты во всей их остроте и напряженности не нашли широкого отражения в эпопее, главной целью которой было показать патриотический подвиг русского народа, единство всей нации, сплотившейся для отпора врагу. Народное раскрывается в романе-эпопее прежде всего как национальное. Национальная общность представлялась Толстому как слияние лучшей части дворянства с народом (из этого единства исключались высшие слои петербургского и московского общества, резко критически, иронически изображенные в романе).

В этот период Толстой, обратившись к опыту прошлых поколений, искал возможности единения между людьми разных сословий и, найдя эту возможность в великом опыте прошлого, думал прийти к разрешению современных ему проблем.

2

Эпическое начало в романе «Война и мир» невидимыми нитями связывает в единое композиционное целое картины войны и мира[1]. Точно так же, как «война» означает не одни военные действия враждующих армий, но и воинственную враждебность людей, в мирной жизни разделенных социальными и нравственными барьерами, понятие «мир» фигурирует и раскрывается в эпопее в своих самых разнообразных значениях. Мир — это жизнь народа, не находящегося в состоянии войны. Мир — это

[1] Интересные соображения и наблюдения по этому поводу содержатся в книгах: А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958; В. В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., 1961; С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1963.

крестьянский сход, затеявший бунт в Богучарове. Мир — это будничные интересы, которые, в отличие от бранной жизни, так мешают Николаю Ростову быть «прекрасным человеком» и так досаждают ему, когда он приезжает в отпуск и ничего не понимает в этом «дурацком мире». Мир — это весь народ, без различия сословий, одушевленный единым чувством боли за поруганное отечество. Мир — это ближайшее окружение, которое человек всегда носит с собой, где бы он ни находился, на войне или в мирной жизни, вроде особенного «мира» Тушина. Но мир — это и весь свет, вселенная, о нем говорит Пьер, доказывая князю Андрею существование «царства правды». Мир — это братство людей, независимо от национальных и классовых различий, здравицу которому провозглашает Николай Ростов при встрече с австрийцем. Мир — это жизнь. Мир и война идут рядом, переплетаются, взаимопроникают и обуславливают друг друга.

Для исторического повествования Толстого одинаково важны и война, и мир, и грандиозные сражения, и такие бытовые картины, как именинный обед, ряженые, святочное катанье. Охота Николая Ростова рассказана более подробно, чем атака павлоградских гусар под Островной, в которой он участвует. Пожалуй, из всех двадцати сражений, изображенных в романе, лишь Бородинское показано столь же детально, как эта охота. И величественное сражение, и охота одинаково раскрывают исторические и национальные черты русского характера.

В общей концепции романа мир отрицает войну, потому что содержание и потребность мира — труд и счастье, свободное, естественное и потому радостное проявление личности, а содержание и потребность войны — разобщение людей, разрушение, смерть и горе. Ужас смерти сотен людей на плотине Аугеста, во время отступления русской армии после Аустерлица, потрясает тем более, что Толстой сравнивает этот ужас с видом той же плотины в другое время, — когда здесь «столько лет мирно сиживал в колпаке старичок-мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу», и «столько лет мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и уезжали по той же плотине, запыленные мукой, с белыми возами». Страшный итог Бородинского сражения рисуется в следующей картине: «Несколько десятков тысяч человек лежали мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах... на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского». Весь ужас необходимости убийства на войне становится ясен Николаю Ростову,

когда он видит «самое простое комнатное лицо» врага, «с дырочкой на подбородке и голубыми глазами».

Мировые события и крупные явления общественной жизни наблюдает в «Войне и мире» случайный свидетель, обыкновенный смертный, и эта простая, естественная, непредвзятая точка зрения обеспечивает нужный автору «человеческий» взгляд. Представляя события с человеческой, нравственной стороны, писатель проникал и в их подлинную историческую сущность.

Само изображение правды войны — в «крови, страданиях, смерти», которое Толстой провозгласил своим художественным принципом еще в Севастопольских рассказах, исходит из народной точки зрения на сущность войны. Правителям народов: Наполеону и Александру, равно как и всему высшему обществу, мало дела до этих страданий. Они либо не видят в этих страданиях ничего ненормального, как Наполеон, либо с брезгливо-болезненной миной отворачиваются от них, как Александр от раненого солдата.

Рассказать правду о войне, замечает сам Толстой в «Войне и мире», очень трудно. Его новаторство связано не только с тем, что он показал человека на войне (это же сделал в европейской литературе Стендаль, чей опыт Толстой, несомненно, учитывал), но, главным образом, с тем, что, развенчав ложную, он первый открыл подлинную героику войны, представил войну как будничное дело и одновременно как испытание всех душевных сил человека в момент их наивысшего напряжения. И неизбежно случилось так, что носителями подлинного героизма явились простые, скромные люди, такие, как капитан Тушин или Тимохин, забытые историей генералы Дохтуров и Коновницын, никогда не говоривший о своих подвигах Кутузов. Именно они влияют на исход исторических событий. Сила приказания: «Круши, Медведев!» — не слабеет оттого, что Тушин «пропищал его», как не тускнеет вся его героическая фигура от несколько комической внешности. Возвышенные слова, обращенные всегда таким простым и как будто будничным Кутузовым к Багратиону: «Благословляю тебя на великий подвиг», — противостоят лживой мишуре высокопарных фраз Наполеона.

В статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой заявил, что для художника, взявшегося описывать исторические события, нет и не может быть героев, а должны быть люди. С этой человеческой меркой подойдя к деятелям 1812 года, он развенчивает Наполеона и прославляет Кутузова.

Наполеон — единственный образ в эпопее, обрисованный прямо сатирически, с использованием сатирических художественных средств. Ядовитая ирония, открытое возмущение автора не

щадит ни Анну Павловну Шерер и посетителей ее салона, ни семейства Курагиных, Друбецких и Бергов (вспомним «любовное» объяснение Бориса Друбецкого с Жюли Карагиной или званый вечер Бергов), ни Александра I, но сатирический гротеск вступает в свои права лишь в тех сценах, где появляется Наполеон с его не знающим границ самообожанием, дерзостью преступлений и лжи (эпизод с Лаврушкой, с награждением орденом Почетного легиона солдата Лазарева, сцена с портретом сына, утренний туалет перед Бородинским сражением и, наконец, тщетное ожидание депутации бояр в день вступления в Москву).

В литературе о «Войне и мире» справедливо отмечалось, что толстовский взгляд на Кутузова оказался очень близким пушкинскому, а оценка Наполеона во многом повторяет сказанное об императоре французов Герценом [1]. Весьма любопытен, например, тот факт, что резкая критика Наполеона содержится в цикле статей Герцена «Война и мир», написанных по поводу франко-итало-австрийской войны 1859 года, которую затеял преемник Наполеона I — Наполеон III. Толстой, конечно, знал это произведение Герцена, которое было напечатано полностью в сборнике «За пять лет» в 1860 году — в то самое время, когда Толстой находился за границей и виделся с Герценом. И хотя заглавие его романа могло появиться независимо от названия статей Герцена (и тем более вне связи с названием книги Прудона «La guerre et la paix» или каких-нибудь иных литературных реминисценций), идейная преемственность романа Толстого и публицистики Герцена несомненна.

3

Свое эстетическое кредо в период создания «Войны и мира» Толстой определил следующим образом: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне

---

[1] См. о связи идейного содержания «Войны и мира» с взглядами Герцена в книгах: А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. Изд-во МГУ, 1959; С. Розанова. Толстой и Герцен. М., «Художественная литература», 1972.

сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы» (т. 61, стр. 100).

«Любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» — в этом основа оптимистической философии «Войны и мира». Сила жизни, ее способность к вечному изменению и развитию утверждаются, как единственно непреходящая и бесспорная ценность. Эта высшая, с точки зрения творца «Войны и мира», ценность определяет историческую деятельность народа и судьбу тех представителей привилегированных классов, которые соприкасаются, «сопрягаются» с народным миром.

Способность человека изменяться таит в себе потенциальную возможность нравственного роста; умение не замыкаться в узких рамках бытия открывает пути к народу, миру. Мудрый жизнеутверждающий пафос книги и вся ее поэтика основаны на знании этой диалектики. Справедливо суждение одного из исследователей «Войны и мира», А. А. Сабурова: «Движение есть форма развития положительного героя у Толстого» [1].

Персонажи «Войны и мира» делятся не на положительных и отрицательных, даже не на хороших и дурных, но на изменяющихся и застывших. Придворная и светская среда критикуется в романе прежде всего потому, что люди этой среды живут «призраками, отражениями жизни» и потому неизменны.

Всегда и всем одинаково улыбается Элен. При первом появлении Элен ее «неизменная улыбка» упомянута трижды. Князь Василий Курагин, как и Элен, способен лишь на «одинаковое волнение» ленивого актера, то есть всегда безжизнен. «Маленькой княгине» Болконской не прощается ее вполне невинное кокетство только потому, что и с хозяйкой гостиной, и с генералом, и со своим мужем, и с его другом Пьером она разговаривает одинаковым капризно-игривым тоном, и князь Андрей раз пять слышит от нее «точно ту же фразу о графине Зубовой». Старшая княжна, не любящая Пьера, смотрит на него «тускло и неподвижно», не изменяя выражения глаз. Даже и тогда, когда она взволнована (разговором о наследстве), глаза у нее остаются те же, старательно подмечает автор, и этой внешней детали довольно для того, чтобы судить о духовной скудости ее натуры.

Берг всегда говорит очень точно, спокойно и учтиво, не расходуя при этом никаких духовных сил, и всегда о том, что ка-

---

[1] А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. Изд-во МГУ, 1959, с. 176.

сается его одного. Та же безжизненность открывается в государственном преобразователе и внешне поразительно активном деятеле Сперанском, когда князь Андрей замечает его холодный, зеркальный, отстраняющий взгляд, видит ничего не значащую улыбку и слышит металлический, отчетливый смех. В другом случае «оживлению жизни» противостоит безжизненный взгляд царского министра Аракчеева и такой же взгляд наполеоновского маршала Даву. Сам великий полководец, Наполеон, всегда доволен собой. Как и у Сперанского, у него «холодное, самоуверенное лицо», «резкий, точный голос, договаривающий каждую букву».

Раскрывая не только характерные признаки типа, но и мимолетные движения человеческой души, Толстой иногда вдруг оживляет эти зеркальные глаза, эти металлические, отчетливые фигуры, и тогда князь Василий перестает быть самим собой, ужас смерти овладевает им, и он рыдает при кончине старого графа Безухова; маленькая княгиня испытывает искренний и неподдельный страх, предчувствуя свои тяжкие роды; маршал Даву на мгновение забывает свою жестокую обязанность и способен увидеть в арестованном Пьере Безухове человека, брата; всегда самоуверенный Наполеон в день Бородинского боя испытывает смятенное и беспокойное чувство бессилия. Толстой убежден, что «люди, как реки», что в каждом человеке заложены все возможности, способность любого развития. Она мелькает и перед застывшими, самодовольными людьми при мысли о смерти или при виде смертельной опасности (испытание жизни смертью — излюбленная сюжетная ситуация у Толстого), однако у этих людей «возможность» не превращается в «действительность». Они не способны сойти с «привычной дорожки»; они так и уходят из романа духовно опустошенными, порочными, преступными.

Внешняя неизменность, статичность оказывается вернейшим признаком внутренней холодности и черствости, духовной инертности, безразличия к жизни общей, выходящей за узкий круг личных и сословных интересов. Все эти холодные и лживые люди не способны сознать опасность и трудное положение, в каком находится русский народ, переживающий нашествие Наполеона, проникнуться «мыслью народной». Воодушевиться они могут лишь фальшивой игрой в патриотизм, как Анна Павловна Шерер или Жюли Карагина; шифоньеркой, удачно приобретенной в тот момент, когда отечество переживает грозное время, — как Берг; мыслью о близости к высшей власти или ожиданием наград и передвижений по служебной лестнице, как Борис Друбецкой накануне Бородинского сражения.

Их призрачная жизнь не только ничтожна, но и мертва. Она тускнеет и рассыпается от соприкосновения с настоящими

чувствами и мыслями. Даже неглубокое, но естественное чувство влечения Пьера Безухова к Элен, рассказывает Толстой, подавило собою все и парило над искусственным лепетом салона Анны Павловны, где «шутки были невеселы, новости не интересны, оживление — очевидно поддельно».

Но ярче всего ничтожность показных и величие истинных чувств раскрываются в тот момент, когда грозная опасность нависает над всей Россией.

Лучшие герои Толстого в испытаниях 12-го года соответствуют общему волнению исторического моря и потому постигают смысл жизни и обретают счастье. В книге Толстого подвиг и счастье идут рядом. Перед 12-м годом Пьер как будто предчувствует это. Его охватывает «радость ожидания чего-то ужасного» (для поэтики Толстого характерно это соединение противоположных начал — так реализуется в искусстве диалектика бытия). Пройдя через катастрофы, «долженствующие изменить всю его жизнь», Пьер убедится, что предчувствие не обмануло его, и выскажет как твердое убеждение одну из заветных мыслей всей книги: «Мы думаем, что как нас выкинет из привычной дорожки, все пропало, а тут только начинается новое, хорошее». Способность вырываться из привычных условий жизни, разрушать рамки устоявшегося бытия — ради того, чтобы приобщиться к новому, народному, — главная исходная ситуация романа. «Война и мир» — книга о великом обновлении жизни, вызванном грозными историческими событиями. Эпитет «новый» главенствует в рассказе о душевных переживаниях основных героев.

Может показаться, что народное мироощущение представлялось Толстому неизменным в его эпическом содержании и что люди из народа даны вне их душевного развития. В действительности это не так. У характеров эпических, таких, как Кутузов или Каратаев, способность к изменению просто иначе воплощается. Она выглядит как естественное уменье всегда соответствовать стихийному ходу исторических событий, развиваться параллельно ходу всей жизни. То, что ищущим героям Толстого дается ценой душевной борьбы, нравственных исканий и страданий, людям эпического склада присуще изначально. Именно поэтому они, люди простые, и оказываются способными «творить историю».

4

Все любимые герои Толстого привлекательны по-разному, но всегда в меру своей способности к духовному изменению и нравственному росту. Низшей ступенью падения Пьера оказывается не тот период в его жизни, когда он участвовал, недовольный со-

бой, в кутежах Анатоля Курагина, а тот, когда он вдруг стал в положение человека, которому ничего не нужно искать и выдумывать, потому что «его колея давно пробита и определена предвечно и он, сколько ни вертись, все будет тем, чем были все в его положении». Душевное успокоение, душевный холод у всегда ищущих героев Толстого характеризует лишь краткие периоды нравственной болезни. Они совсем не свойственны героине романа — Наташе Ростовой.

Секрет чарующего обаяния Наташи — не только в ее беспредельной искренности, «открытости душевной», но и в том, что присущая ей «душевная сила» не терпит насилия над живой жизнью. Наташа способна на высокий самоотверженный, а в каком-то чаду затмения и на дурной поступок — но и тот и другой содействуют ее нравственному росту, и в этом сила ее характера, сила, которая преображает все вокруг и порой не щадит ее самое.

Сущность ее натуры — любовь — выводит из тяжелого душевного кризиса князя Андрея и возвращает к жизни убитую горем, после смерти Пети, мать; в момент предсмертной болезни Болконского она вся исполнена «страстным желанием отдать себя всю» на то, чтобы помочь им (умирающему Андрею и его сестре), а после замужества — с той же безграничной страстностью отдать себя интересам семьи. Надо полагать, что нравственная сила заставила бы ее, не только ничего не говоря, но и не думая о так называемом самопожертвовании, отправиться за осужденным мужем-декабристом в Сибирь.

Литературная критика не раз отмечала тот факт, что образом Наташи-«самки» в эпилоге своего романа Толстой полемизировал с движением «эмансипации» женщин, столь характерным для 60-х годов прошлого века. Намеки на эту полемику находятся в самом тексте «Войны и мира». Но более существенно другое. Тот нравственный идеал, который утверждает Толстой в «Войне и мире», в частности, образом Наташи, отрицает самоотречение, как нечто искусственное, выдуманное, ложное. В этом отношении этика Толстого в известной мере соприкасается с этическими принципами, провозглашенными революционными демократами 60-х годов. Правда, в противовес им, Толстой отрицал «разумный» и отстаивал «естественный», «наивный» эгоизм. (О Т. А. Берс, многие черты которой воплощены в образе Наташи Ростовой, Толстой заметил однажды: «Прелесть наивности эгоизма и чутья»).

В отличие от Наташи Соня не совершает ни одного дурного поступка, именно она препятствует позорному бегству Наташи с Анатолем. Но симпатии автора не на стороне благоразумной

и рассудительной Сони, а на стороне «преступной» (Толстой несколько раз употребляет это слово) Наташи. «Низкий, глупый и жестокий» поступок свой Наташа переживает с такой силой чувства, она преисполнена такого отчаяния, стыда и унижения, что, перестрадав историю с Анатолем, становится не хуже, а лучше, и с полным правом говорит Пьеру: «Прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю». «Преступная» Наташа выше вполне добродетельной Сони, которая, рассчитав, после новой встречи Наташи с Андреем Болконским, что брак Николая Ростова с княжной Марьей невозможен, пишет Николаю «самоотверженное» письмо, освобождающее его от обязательств перед ней.

В нравственном отношении Наташа выше даже Марьи Болконской. Христианская мораль, усвоенная княжной Марьей, обязывает любить всех и прощать всем. Но это возможно, как гениально показывает в романе Толстой, лишь на пороге неминуемой смерти. В жизни христианская мораль, даже при действительных высоких душевных качествах княжны Марьи, оборачивается неизбежным насилием над собой.

Эгоизм Наташи утверждает то счастье, от которого человек «делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя». Ее безрассудная «жизненная сила» отрицает и кажущееся великодушие Сони, и холодную расчетливость Бориса Друбецкого или Сперанского, своекорыстие Бергов, и тот самодовольный эгоизм, не желающий знать ничего, кроме своих наслаждений, который воплощен в действительно преступном и грязном мире Курагиных. Не случайно поэтому Наташа сопоставляется и сближается в романе (как это ни покажется странным на первый взгляд) с Кутузовым, Анатоль Курагин — с Наполеоном. На вопрос княжны Марьи, умна ли Наташа, Пьер отвечает, что она «не удостоивает быть умной»; главная сила Кутузова, по словам князя Андрея, состоит в том же: он руководится не «умными» соображениями и расчетами, а чем-то высшим, что он носит в себе. С другой стороны, Анатоль Курагин, играющий в мирной, частной жизни столь же преступную роль, как Наполеон в исторической судьбе народов, так же, как и французский завоеватель, всегда доволен своим положением и собою и потому всегда способен на преступления, которые ему таковыми не кажутся. К Анатолю Пьер обращает слова, аналогичные тем, какими автор «Войны и мира» гневно осуждает Наполеона: «Вы не можете не понять, наконец, что, кроме вашего удовольствия, есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться».

Анатоль, как и Наполеон, не ведает нравственных преград; ему недоступна нравственная оценка своих поступков.

Низкие, безнравственные инстинкты ставят человека во враждебные отношения к жизни, холодная рассудочность, рационалистическая скованность замыкает в узкие рамки малого мирка сухих расчетов, отчужденного от подлинной жизни со всем высоким и низким, что она таит в себе; своих лучших героев Толстой в «Войне и мире» выводит в открытый мир «всей» жизни с ее радостями и страданиями. «Да здравствует весь мир!» — к приятию этого девиза, утверждающего единение всех людей, приходит Пьер, разочаровавшись в Наполеоне, в масонстве, в филантропии, в подвигах, побуждаемых тщеславием. В этом кредо Толстого утверждается правота все той же «мысли народной». Недаром, только вполне окунувшись в мир народной жизни, а не наблюдая его со стороны, как это было в его поездку по имениям и даже во время Бородинского сражения, Пьер научился не только отказываться от личного, жертвовать всем, но «сопрягать» личное с общим.

«Жизнь, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, восторгов, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей» — независимость этой единственно подлинной жизни от мелких, личных, не «сопряженных» с жизнью общей интересов и от политической игры властителей утверждает Толстой. Но здесь же его идеал обнаруживает, наряду со своими сильными сторонами, и внеисторичность и ограниченность. Всем и всяким политическим и социальным установлениям данного времени Толстой противопоставляет вечные свойства человеческой натуры, те самые, которые в страшный момент допроса Пьера маршалом Даву вдруг подсказали им, что «они оба — дети человечества, братья»; всяким попыткам разумного устройства жизни — стихийную роевую силу, воплощенную в Каратаеве.

В образе Каратаева развиваются черты, воплощенные ранее в «покорных» солдатах военных рассказов Толстого; впоследствии тот же тип по-разному видоизменяется в мужиках-непротивленцах народных рассказов и драмы «Власть тьмы», созданных уже после перелома в мировоззрении Толстого, в 80-е годы; в образе солдата Авдеева из повести «Хаджи Мурат».

Каратаев, конечно, не олицетворяет собою всего русского народа, хотя отражает некоторые вполне реальные черты психологии патриархального крестьянства. Сближение с Каратаевым становится важной вехой в развитии Пьера. Сойдясь с Каратаевым в плену, Пьер понимает, что живая жизнь выше всяких умствований и «что счастье в нем самом», то есть в самом

человеке. Именно образ Каратаева воплощает в романе главные философско-исторические идеи.

«Стихийное» начало исторического развития Толстой метафизически противопоставил разумной, целенаправленной деятельности людей. Достоянием истории он провозгласил стихийную, роевую жизнь, имеющую «не свободное, а предопределенное значение», и далее в своей философии истории пришел к фаталистическим выводам.

Но исторические взгляды Толстого не сводятся к фатализму. Вступая в противоречие с фаталистической концепцией, внутренний, объективный смысл изображенной Толстым в «Войне и мире» жизни вплотную подводил его к признанию главенствующей роли масс в движении истории. Так, исход войны 1812 года был обусловлен, с его точки зрения, не только таинственным «фатумом», но и «дубиной народной войны», действовавшей с «простотой» и «целесообразностью».

Философия войны у Толстого, при всей отвлеченности некоторых его сентенций на эту тему, сильна оттого, что острием своим направлена против либерально-буржуазных военных писателей, для которых весь интерес сводился к рассказу о прекрасных чувствах и словах разных генералов, а «вопрос о тех 50 000, которые остались по госпиталям и могилам», вовсе не подлежал изучению. Его философия истории, при всей противоречивости, сильна тем, что большие исторические события он рассматривает как результат движения масс, а не деяний царей, полководцев и министров, то есть правящих верхов. И в таком подходе к вопросам исторического бытия видна все та же «мысль народная».

5

И в начале работы над «Войной и миром», и в конце ее Толстой отказывался определить жанр своего произведения, протестовал против названия его романом, поэмой или исторической хроникой, справедливо ссылаясь при этом на историю всей русской литературы, которая «со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного». В иных случаях он сравнивал свое создание с «Илиадой» и «Одиссеей», таким образом все-таки указывая на самый существенный признак в жанровом своеобразии «Войны и мира», ее близость к народно-героической эпопее.

Великое новаторство Толстого было далеко не сразу понято и оценено. Даже П. В. Анненков, один из проницательных

и справедливых критиков, находил в «Войне и мире» изъян: недостаток романического развития, преобладание исторической части над частью художественной. По его мнению, нельзя было, чтобы исторические лица «выказывали себя во весь свой рост, во всю свою ширину, во всей своей сущности»[1]. Анненков не смог понять, что Толстой создавал не исторический роман традиционного типа, а невиданную до того эпопею, где сама история, в бурном потоке войны и спокойном течении мира, прокладывает русло для «величественного, глубокого и всестороннего содержания» (т. 13, стр. 53).

Толстой говорил, что литературные приемы романа казались ему «несообразными» с историческим содержанием «Войны и мира». Не личные судьбы отдельных персонажей образуют основу для художественных сцеплений эпизодов и частей. «Большая история» соседствует в романе с «малой историей» и, в сущности, определяет ее.

Несмотря на то, что главные персонажи «Войны и мира» взяты не из народной среды, Толстой имел право сказать, что он писал в своем произведении историю народа.

Главный герой «Войны и мира» — не отдельное лицо, а масса лиц, не «я», а «мы» — мы, какими мы были, какими бываем в героические эпохи нашей истории. Характерно, что сложный душевный мир князя Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой раскрывается и проясняется в среде солдат, крестьян, дворовых людей — в среде, казалось бы, бесконечно далекой и чуждой для них, отделенных от народа воспитанием, богатством и знатностью.

Этот эпический, составившийся из множества отдельных характеров, портретов и типов, образ народа, собственно, и превращает роман в эпос, в повествование с открытым финалом, без той развязки, с которой «уничтожается интерес»; в этом состоит в то же время художественное открытие Льва Толстого.

В самом историческом материале, избранном Толстым, жил дух эпоса.

Отечественная война 1812 года, как всякая национально-освободительная война, создала эпическое состояние мира, возможность всенародного действия.

Однако эпос — не идиллия, и эпическое состояние мира — отнюдь не безмятежное состояние. Национальная война — это не только борьба между враждующими народами, но и мощный

[1] П. В. Анненков. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир». — Сб. «Л. Н. Толстой в русской критике». М., Гослитиздат, 1952, с. 253.

толчок к разрушению привычных, устоявшихся рамок бытия внутри самой нации. В эпохи крутых поворотов, во время войн и революцией, размежевание сил идет по другим рубежам, чем в мирные времена, но идет с особенной силой и неумолимостью. Рушатся сословные перегородки, и лучшие люди из высших классов оказываются вместе с народом; отчужденность других от общенациональных, народных интересов выглядит особенно порочной, даже преступной.

Для самого Толстого смысл работы над «Войной и миром» заключался в исследовании жизни, в попытке «докопаться» до ее начал, до таинственных сил, определяющих и направляющих ее течение. Тут искусство соприкасалось с историей и философией, тут возникали проблемы, подвластные, казалось бы, одной только науке. Но наука, как убедился Толстой, перечитавший в пору работы над своей книгой десятки исторических и философских сочинений на французском, английском, немецком и русском языках, не задумывалась над этими проблемами или же ставила их неправильно, принимая второстепенное и частное за главное и основное. Толстой стремился к целостному отображению истории и жизни, где в неисчислимом множестве случайностей, в бесконечной путанице житейских мелочей, из которых и состоят реальные человеческие отношения, но которые вовсе не важны и не интересны на взгляд историка или философа, созидались характеры и судьбы народов, как и характеры отдельных людей.

«Люди как реки» — такой подход к духовной жизни человека отличает все творчество Толстого. В «Войне и мире» этот открытый им художественный принцип дает возможность показать в характерах положительных героев (помимо их исторической и социально-типической обусловленности) способность, постоянно изменяясь, разрушать перегородки сословной ограниченности.

В обрисовке характеров и в композиции эпопеи проявилось великое знание Толстым законов всеобщей связи явлений — то именно качество, которое обусловило смелое новаторство его реализма.

Идейный и художественный смысл каждой сцены и каждого характера «Войны и мира» становится вполне ясен лишь в их композиционных сцеплениях с многообъемлющим содержанием эпопеи. Казалось бы, сцена охоты, например, не имеет никакого отношения к основной теме «Войны и мира». Однако именно здесь раскрыта психология человека на войне, когда он преследует врага (в эпизоде атаки эскадрона Николая Ростова Толстой не станет рассказывать о переживаниях Ростова, заметив

как бы мимоходом: было то же, что на охоте), и, одновременно, «психология» раненого зверя, с которым затем прямо сопоставляется поведение наполеоновского войска после Бородина.

«Война и мир», благодаря сочетанию художественного обобщения и детализации, индивидуального и личного с национальным, всенародным, стала вехой не только в истории русского, но и мирового искусства.

6

Роман «Война и мир», о котором И. Гончаров сказал, что с появлением его Толстой сделался «настоящим львом русской литературы», имел огромный успех у читателей и вызвал большой интерес в критике.

Количество критических статей, вызванных появлением романа, исчисляется сотнями. Среди них находятся такие, сохранившие свое значение до нашего времени, работы, как «Старое барство» Д. И. Писарева, «Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир» П. В. Анненкова, «Война и мир» графа Толстого с военной точки зрения» М. И. Драгомирова, статьи Н. Н. Страхова и др. В целом литературная критика 60-х годов оказалась не в состоянии правильно и глубоко истолковать и в полной мере оценить величайшее творение Толстого.

Едва только первые главы романа «1805 год» появились в «Русском вестнике», анонимный критик либеральной газеты «Голос» (3 апреля 1865 г., № 93) высказал недоумение, которое затем повторялось на разные лады множество раз: «Что это такое? К какому разряду литературных произведений отнести его? ...Что же это все? Вымысел, чистое творчество или действительность?» Первым попытался ответить на этот вопрос критик Н. Ахшарумов. В статье, напечатанной в журнале «Всемирный труд» (1867, № 6), он писал, что «Война и мир» — это «не хроника и не исторический роман», но что ценность произведения от этого нисколько не уменьшается. «Очерк русского общества шестьдесят лет назад» — так определил Ахшарумов задачу Толстого. Более широкое, но все же очень далекое от истины определение жанра «Войны и мира» дал П. Анненков, сказав, что роман является «историей культуры по отношению к одной части нашего общества, политической и социальной нашей историей в начале текущего столетия вообще». Лишь Тургенев в предисловии к переводу «Двух гусаров», напечатанному в 1875 году во французской газете «Le temps», нашел нужные слова для характеристики оригинального и многостороннего произведения Толстого, «заключающего в себе вместе эпопею, исторический роман и очерк нравов».

В условиях напряженной идейной борьбы второй половины 60-х годов, господства в стране правительственной реакции и подготовки народнического движения — роман Толстого с его пафосом утверждения, а не критики, должен был вызвать недовольство у публицистов радикального направления, тем более что роман начал печататься в реакционном журнале «Русский вестник». Политическим манифестом эпохи явилась тогда вышедшая в год завершения «Войны и мира» книга Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России». Передовая литературная критика требовала от искусства показа социального и нравственного антагонизма между правящими классами и народом и вела курс на «разъединение» общества. «Война и мир» с ее апологией «общей жизни», национального единства не могла не прозвучать в этих общественных условиях резким диссонансом. С другой стороны, «мысль народная» романа была перетолкована на свой лад критиками славянофильского, почвеннического лагеря, которые провозгласили Толстого своим «богатырем», а «Войну и мир» — библией «народного направления» и тем усугубили раздражение против ее автора со стороны демократического лагеря. Промежуточное, как всегда, положение заняла либеральная критика.

П. Анненков в статье, опубликованной в 1868 году в либеральном журнале «Вестник Европы» (№ 2), отмечал необыкновенное мастерство Толстого в изображении сцен военного быта и психологии человека на войне; сложность композиции, органически сочетающей историческое повествование с рассказом о частной жизни героев. «Ослепительная сторона романа», по словам Анненкова, «заключается в естественности и простоте, с каким он низводит мировые события и крупные явления общественной жизни до уровня и горизонта зрения всякого выбранного им свидетеля».

Назвав далее «великими разночинцами» Сперанского и Аракчеева, Анненков сетовал на то, что Толстой не ввел в свой роман «некоторую примесь» этого «сравнительно грубого, жесткого и оригинального элемента».

Закончил свою статью Анненков утверждением, что «Война и мир» «составляет эпоху в истории русской беллетристики».

Здесь он близко сошелся с оценкой романа Н. Н. Страховым, печатавшим в 1869—1870 годах свои статьи о «Войне и мире» в почвенническом журнале «Заря». «Война и мир» есть произведение гениальное, равное всему лучшему и истинно великому, что произвела русская литература», — писал Страхов в небольшой заметке «Литературная новость», в которой он сообщал о выходе «давножданного 5-го тома». В своей критической

статье, написанной после выхода всего романа, Страхов утверждал: «Совершенно ясно, что с 1868 года, то есть с появления «Войны и мира», состав того, что собственно называется русскою литературою, то есть состав наших художественных писателей, получил иной вид и иной смысл. Гр. Л. Н. Толстой занял первое место в этом составе, место неизмеримо высокое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы... Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы теперь обладаем». Несомненная заслуга Страхова в том, что он первый «придал «Войне и миру» то высокое значение, которое роман этот получил уже много позднее и на котором он остановился навсегда». Так говорил сам Толстой, которого «радовали» статьи Страхова [1].

Высоко оценивая «Войну и мир», Страхов, однако, в нужном ему духе истолковал роман Толстого и был далек от истинного понимания его идейной и художественной стороны. Не замечая эпического начала в «Войне и мире», Страхов назвал ее «семейной хроникой», тем самым принизив значение гениального произведения. Опираясь на эстетические оценки Ап. Григорьева, Страхов усмотрел в содержании романа Толстого воплощение излюбленной мысли Григорьева о превосходстве «смирного» русского над «хищным» европейским типом. Страхов возвеличивал наиболее отсталые и реакционные черты в психологии русского крестьянства, воплощенные в образе Каратаева. Он причислил всю «массу русского народа» к представителям «смирного героизма», в то время как Толстой воспел в «Войне и мире» деятельный героизм народа, поднявшего «дубину народной войны», героизм, с особенной яркостью персонифицированный в образе Тихона Щербатого. Опровержением ложной концепции Страхова явились слова Толстого, сказанные им в 1876 году, когда он критиковал книгу Страхова «Мир как целое», где автор повторил свое деление людей на «деятельных» и «пассивных». «Я слышу тут отголосок неудавшейся мысли Григорьева о хищных и смирных типах, которой я никогда не понимал», — писал Толстой Страхову и далее указывал на то, что в жизни именно «недеятельные, пассивные» люди, то есть народ, — «пашет, сеет, нанимает, торгует, распределяет деньги, ездит, набирает солдат, командует, главное, рожает и воспитывает себе подобных и лучших» (т. 62, стр. 236—237).

---

[1] Цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 г. по 1869 г. М., 1967, с. 856—857.

Радикальная и народническая критика 60-х годов, как уже было сказано, с раздражением встретила роман Толстого, не найдя в нем изображения революционной интеллигенции и обличения крепостничества. Известный в то время критик В. Зайцев в статье «Перлы и адаманты русской журналистики» («Русское слово», 1865, № 2) охарактеризовал «1805 год» как роман о «великосветских лицах». Журнал «Дело» (1868, № 4, 6, 1870, № 1) в статьях Д. Минаева, В. В. Берви-Флеровского и Н. В. Шелгунова оценивал «Войну и мир» как произведение, в котором отсутствует «глубоко жизненное содержание», его действующих лиц как «грубых и грязных», как «умственно окаменелых» и «нравственно безобразных», а общий смысл «славянофильского романа» Толстого — как апологию «философии застоя».

Характерно, однако, что критическую сторону романа чутко уловил самый прозорливый представитель демократической критики 60-х годов — М. Е. Салтыков-Щедрин. Он не выступил в печати с оценкой «Войны и мира», но в устной беседе справедливо заметил: «А вот наше, так называемое, «высшее общество» граф лихо прохватил» (Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, изд. 3-е. Тула, 1958, с. 343).

Д. И. Писарев в своей оставшейся незаконченной статье «Старое барство», напечатанной во втором номере «Отечественных записок» за 1868 год, отмечал «правду» в изображении Толстым представителей высшего общества и дал блестящий разбор типов Бориса Друбецкого и Николая Ростова; однако и его не устраивала «идеализация» «старого барства», «невольная и естественная нежность», с какою относится автор к своим дворянским героям.

С иных позиций критиковала «Войну и мир» реакционная дворянская печать, официальные «патриоты». А. С. Норов, П. А. Вяземский и другие обвинили Толстого в искажении исторической эпохи 1812 года, в том, что он надругался над патриотическими чувствами отцов, осмеял высшие круги дворянства.

Среди критической литературы о «Войне и мире» выделяются отзывы некоторых военных писателей, сумевших верно оценить новаторство Толстого в изображении войны. Сотрудник газеты «Русский инвалид» Н. Лачинов напечатал в 1868 году (№ 96 от 10 апреля) статью, в которой высоко поставил художественное мастерство Толстого в военных сценах романа, описание Шенграбенского сражения характеризовал как «верх исторической и художественной правды» и соглашался с трактовкой Толстым Бородинского сражения.

Содержательна статья известного военного деятеля и писателя М. И. Драгомирова, печатавшаяся в 1868—1870 годах в «Оружейном сборнике». Драгомиров находил, что «Война и мир» должна стать настольной книгой каждого военного: военные сцены и сцены войскового быта «неподражаемы и могут составить одно из самых полезнейших прибавлений к любому курсу теории военного искусства». Особенно высоко оценил Драгомиров уменье Толстого, рассказывая о «выдуманных», но «живых» людях, передать «внутреннюю сторону боя». Полемизируя со взглядами Толстого о «стихийности» войны, о значении направляющей воли командира в ходе сражения, Драгомиров справедливо замечал, что Толстой представил в своем романе замечательные картины (например, объезд Багратионом войск перед началом Шенграбенского сражения), рисующие эту способность истинных полководцев руководить духом войска и тем самым управлять людьми во время боя.

В целом же «Война и мир» получила наиболее глубокую оценку в отзывах выдающихся русских писателей, современников Толстого. Как великое, необычайное литературное событие восприняли «Войну и мир» Гончаров, Тургенев, Лесков, Достоевский, Фет.

В письме к Толстому от 1 января 1870 года, восторженно отзываясь о романе, Фет указал на одну из самых существенных его сторон: «Вы вырабатывали перед нами будничную изнанку жизни, беспрестанно указывая на органический рост на ней блестящей чешуи героического» [1].

И. А. Гончаров в письме к П. Б. Ганзену от 17 июля 1878 года, советуя ему заняться переводом на датский язык романа Толстого, писал: «Это — положительно русская «Илиада», обнимающая громадную эпоху, громадное событие — и представляющая историческую галерею великих лиц, списанных с натуры живою кистью великим мастером!.. Это произведение одно из самых капитальных, если не самое капитальное» («Литературный архив», т. 6. Изд-во АН СССР, 1961, с. 81). В 1879 году, возражая против того, что Ганзен решил сначала переводить «Анну Каренину», Гончаров писал ему: «Война и мир» — необыкновенная поэма-роман — и по содержанию, и по исполнению. И вместе с тем — это есть также и монументальная история славной русской эпохи, где — что фигура, то исторический колосс, литая из бронзы статуя. Даже и в второстепенных лицах воплощаются характерные черты русской народной жизни» (там же, стр. 94). В 1885 году, выражая удовлетворение по поводу перевода сочи-

[1] Цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 г. по 1869 г. М., 1957, с. 858.

нений Толстого на датский язык, особенно романа «Война и мир», Гончаров замечал: «Положительно граф Толстой выше всех у нас» (там же, стр. 104).

Достоевский назвал «Войну и мир» «великолепным» и «последним» словом «помещичьей литературы» (в письме к Н. Н. Страхову от 18(30) мая 1871 г.), основывая, очевидно, это свое суждение на том, что главными героями романа являются представители дворянского класса. В одном из черновиков романа «Подросток», вновь именуя Толстого «историографом дворянства, или, лучше сказать, культурного слоя», Достоевский развил свою мысль: «Беспристрастность, реальность картин придает изумительную прелесть описанию, тут рядом с представителями талантов, чести и долга — сколько открыто негодяев, смешных ничтожностей, дураков» [1]. В 1876 году Достоевский писал об авторе «Войны и мира»: «Я вывел неотразимое заключение, что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой» [2].

Ряд замечательно верных суждений о «Войне и мире» находится в статьях Н. С. Лескова, печатавшихся без подписи в 1869—1870 годах в газете «Биржевые ведомости».

Лесков назвал «Войну и мир» «наилучшим русским историческим романом», «гордостью современной литературы». Высоко оценивая художественную правду и простоту романа, Лесков особенно подчеркивал заслугу писателя, *«сделавшего более, чем все»,* для вознесения «народного духа» на достойную его высоту. «Кроме личных характеров — художественное изучение автора, видимо для всех, с замечательною энергиею было направлено на характер всего народа, вся нравственная сила которого сосредоточилась в войске, боровшемся с великим Наполеоном. В этом смысле роман графа Толстого можно было в некотором отношении считать эпопеею великой и народной войны, имеющей своих историков, но далеко не имевшей своего певца... Многими блестящими страницами своего труда автор обнаружил в себе все необходимые качества для истинного эпоса».

С этой оценкой «Войны и мира» сошлось мнение Тургенева, к которому он пришел, отказавшись от своих первоначальных многочисленных критических суждений о романе, в особенности о его исторической и военной стороне, а также о манере толстовского психологического анализа (см. полный свод высказываний Тургенева в названной выше книге Н. Н. Гусева, стр. 863—874).

---

[1] «Начала», 1922, № 2, с. 219.

[2] Ф. М. Достоевский. Письма, т. III, 1934, с. 206.

В заметке 1880 года о «Войне и мире», написанной в форме письма к редактору газеты «Le XIX-e Siècle» Эдмонду Абу, Тургенев назвал Л. Толстого «наиболее популярным из современных русских писателей», а «Войну и мир» — «одной из самых замечательных книг нашего времени». «Это обширное произведение овеяно эпическим духом; в нем частная и общественная жизнь России в первые годы нашего века воссоздана мастерской рукой. Перед читателем проходит целая эпоха, богатая великими событиями и крупными людьми... развертывается целый мир со множеством выхваченных прямо из жизни типов, принадлежащих ко всем слоям общества. Манера, какой граф Толстой разрабатывает свою тему, столь же нова, сколь и своеобразна... Это великое произведение великого писателя — и это подлинная Россия» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч., т. XV, М. — Л., 1968, с. 187—188).

Тургеневу принадлежит огромная заслуга в распространении и популяризации «Войны и мира» среди европейской читающей публики.

Первое французское издание «Войны и мира», вышедшее в 1879 году, положило начало всемирной известности творца романа — Льва Толстого.

7

Роман Толстого был воспринят как шедевр мировой литературы. Г. Флобер высказал свое восхищение в одном из писем к Тургеневу (январь 1880 г.): «Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первых тома изумительны... Мне случалось вскрикивать от восторга во время чтения... Да, это сильно, очень сильно!» Позднее Д. Голсуорси назвал «Войну и мир» «лучшим романом, какой когда-либо был написан» [1].

Эти суждения выдающихся европейских писателей общеизвестны; они цитировались много раз в статьях и книгах о Толстом. В последнее время стали известны в русском переводе и опубликованы впервые многие новые материалы, свидетельствующие о всемирном признании великой эпопеи Толстого. Они собраны в 75-м томе «Литературного наследства» (вышел в 1965 г.).

Р. Роллан писал, например, о том, как еще совсем молодым человеком, студентом Эколь Нормаль, он читал роман Толстого: это «произведение, как жизнь, не имеет ни начала, ни конца. Оно — сама жизнь в ее вечном движении» (кн. 1, стр. 61).

---

[1] Цит. по кн.: Т. Мотылева. О мировом значении Толстого. М., «Советский писатель», 1957, с. 520.

Швед А. Стриндберг в статье «Что такое Россия?» советовал читать Толстого и Достоевского: «...Вы откроете там юную нацию, новую и целомудренную страну» (там же, стр. 124).

Художники-реалисты XX века особенно высоко оценили правду военных описаний. Т. Манн замечал, что «Война и мир» — «самое сильное в мировой литературе произведение о войне» (там же, стр. 173). Э. Хемингуэй признавался, что он учился у Толстого писать о войне «как можно правдивее, честнее, объективнее и скромнее» (там же, стр. 52). «Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого», — утверждал он в книге «Люди на войне», вышедшей в 1955 г. (там же, стр. 158).

Высокий нравственный пафос «Войны и мира» волнует писателей XX века, свидетелей новых опустошительных войн, в гораздо большей степени, чем современников Толстого. Немецкий писатель Леонгард Франк в книге «Человек добр» назвал создателя «Войны и мира» «величайшим борцом за те условия человеческого существования, при которых человек действительно может быть добр» (там же, стр. 21); в романе Толстого он увидел «страстное участие к страданиям, которые война принесла всем людям и, прежде всего, русским людям» (там же, стр. 292).

Луи Арагон свидетельствует: «Этот роман, быть может, величайший из всех, какие когда-либо были написаны, стал предметом страсти французов в 1942—1943 гг. ...Ибо происходило так, будто Толстой не дописал его до конца, и будто Красная Армия, дающая отпор носителям свастики, наконец вдохнула в роман его подлинный смысл, внесла в него тот великий вихрь, который потрясал наши души» (там же, стр. 12—13).

По книге Толстого весь мир учился и учится России.

В 1887 году американец Джон Форест писал Толстому: «Ваши персонажи для меня — живые, настоящие люди, такие же, как и вы сами, и составляют столь же неотъемлемую часть русской жизни. За последние годы вы, Достоевский и Гоголь населили то пространство, которое раньше было для меня безлюдной пустыней, отмеченной лишь географическими названиями.

Приехав теперь в Россию, я стал бы разыскивать Наташу, Соню, Анну, Пьера и Левина с большей уверенностью, что встречусь с ними, чем с русским царем. И если бы мне сказали, что они умерли, я очень огорчился бы и сказал: «Как? Все?» (там же, стр. 344—345).

Наконец, художественные законы, открытые Толстым в «Войне и мире», составляют и поныне непререкаемый образец. Голландский писатель Тойн де Фрис выразился об этом так: «Больше всего захватывает меня всегда роман «Война и мир». Он неповторим. В 1930-х годах один голландский писатель стар-

шего поколения говорил: «Если бы господь бог захотел написать роман, он не мог бы этого сделать, не взяв за образец «Войну и мир»» (там же, стр. 224).

В наш век трудно найти человека, на каком бы языке он ни говорил, который не знал бы «Войну и мир». В книге ищут вдохновения художники, перевоплощающие ее в традиционных (опера С. Прокофьева) и в совершенно новых, неизвестных во времена Толстого формах искусства, подобных кино и телевидению. Помочь читателю глубже, яснее, тоньше понять поэтическое слово, его силу и красоту — в этом главная задача и условие их успеха. Они дают возможность как бы увидеть своими глазами ту действительную жизнь, любовь к которой мечтал пробудить Толстой своей книгой.

Стр. 7. *...обе императрицы... Мария Феодоровна... Елизавета Алексеевна...* — Мать и жена Александра I. Мария Федоровна (1759—1828) была до замужества (за Павлом I) принцессой Вюртембергской. Елизавета Алексеевна (1779—1826) — дочь баден-дурлахского маркграфа.

Стр. 9. *...Витгенштейном, героем Петрополя...* — Генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн (1768—1842) командовал корпусом, защищавшим пути на Петербург. После смерти Кутузова стал главнокомандующим русской армией.

Стр. 10. *...отсылает австрийские знамена... нашел вне настоящей дороги.* — Намек на недавнее союзничество с Россией австрийцев, которые теперь воевали на стороне Наполеона.

Стр. 11—12. *...во время молебствия... князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова... В известии Кутузова сказано было... о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов.* — Генерал-фельдмаршал князь П. М. Волконский (1776—1852) в 1812 году состоял в свите Александра I. Донесение от Кутузова, полученное в Петербурге 30 августа во время молебствия по случаю именин царя, было написано в ночь на 27 августа, сразу после Бородинского сражения (напечатано в книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны в 1812 году», ч. II. СПб., 1839, с. 287—288). Кутузов сообщал о ранении Багратиона и Н. А. Тучкова (Тучков умер от раны 30 августа, Багратион — 12 сентября). Начальник артиллерии первой армии, генерал А. И. Кутайсов (в 1812 г. ему было 28 лет) убит в Бородинском сражении.

Стр. 13. *...приехал помещик из Москвы... известие о сдаче Москвы французам.* — Это сведение взято Толстым из книг Михайловского-Данилевского (ч. II, с. 416) и М. Богдановича («История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам», т. II.

СПб., 1859, с. 286). Первое официальное известие об оставлении Москвы было получено в Петербурге 6 сентября через курьера, посланного Ростопчиным.

...рескрипт Кутузову. — Рескрипт Александра I датирован 7 сентября (напечатан в книге Михайловского-Данилевского, ч. II, с. 418).

Стр. 14. *...француз Мишо...* — Военный инженер, перешедший из сардинских войск на русскую службу, граф А. Ф. Мишо де Боретур (1771—1841). В Петербург полковник Мишо прибыл 9 сентября. Его разговор с царем (по письму Мишо) изложен у Михайловского-Данилевского, с. 418—422.

Стр. 72. *...так называемый фланговый марш за Красной Пахрой.* — В этом «фланговом марше» заключался стратегический план Кутузова: отступив из Москвы по Рязанской дороге, он затем перешел на Тульскую, а у Красной Пахры повернул основную часть армии круто на юг, на Калужскую дорогу, и остановился у Тарутина. Таким образом, Кутузов мог контролировать три дороги, преградив французам путь в плодородные южные губернии и к городам с военными запасами — Туле, Брянску. Арьергард русской армии (два казачьих полка) продолжал отступление по Рязанской дороге и тем ввел в заблуждение Мюрата (командовавшего французским авангардом), который действительно «потерял из виду» русскую армию.

Стр. 75. *...присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.* — Генерал Лористон прибыл на аванпосты русской армии с предложением мира 5 октября 1812 года. В беседе с Кутузовым он жаловался на «нерегулярный» (т. е. партизанский) характер войны. Кутузов отказался вести переговоры о мире, но обещал направить курьера в Петербург. От Александра I ответа Наполеону не последовало. В рескрипте 9 октября, направленном Кутузову, Александр отказался от мирных переговоров.

Стр. 77. *...дальние диверсии...* — то есть маневренные движения войск.

Стр. 81. *...Коновницына подкатить.* — П. П. Коновницын после Бородинского сражения был назначен дежурным генералом армии, и вина за неисполнение приказа главнокомандующего легла бы прежде всего на него.

Стр. 85. *...роль Вейротера в Аустерлицком...* — Генерал Ф. Вейротер, начальник штаба австрийской армии, составлял диспозицию Аустерлицкого сражения (см. гл. XII, ч. 3 первого тома).

Стр. 90. *Наполеон призывает к себе... капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы...* — А. И. Герцен в «Былом и думах» (ч. 1, гл. I) подробно рассказывает, со слов отца, И. А. Яковлева, этот эпизод. Начальные главы «Былого и дум» были

напечатаны в «Полярной звезде» за 1856 год и были известны Толстому.

...этого старичка отправляет в Петербург для переговоров. — Генерал-майор И. В. Тутолмин (1751—1815) был в 1812 году директором Московского воспитательного дома и оставался в Москве во время занятия ее французами. Наполеон через него передал Александру I свое желание заключить мир; в Петербург был отправлен чиновник Воспитательного дома Ф. Рухин.

Стр. 91—93. *...учрежден муниципалитет и обнародовано следующее: «Жители Москвы!.. не медлите соединиться с нами!»* — Муниципалитет во главе с «интендантом Московской губернии» Лессепсом и многочисленными комиссарами, полицейскими, приставами обязан был восстановить порядок в городе. Воззвания муниципалитета напечатаны в книге: А. И. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году, ч. III. СПб., 1839, с. 74—76 и 157—159. Толстой приводит их, не изменяя ни одного слова.

Стр. 93. *На богоугодных заведениях он велел надписать «Maison de ma mère»...* — Это сведение взято Толстым из напечатанной в «Русском архиве» (1864, кн. 11—12, с. 1193) выписки известий из Москвы от 18 сентября 1812 года (источник не вполне достоверный, но хорошо передающий тогдашние настроения и слухи): «На всех домах богоугодных заведений Наполеон написал «Maison de ma mère», также и в сумасшедшем доме; не знают, что он сим разуметь хочет».

Стр. 93—94. *...по красноречивому изложению Тьера... roubles papiers.* — M. A. Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire, v. XIV, Paris, 1856, p. 392-393.

Стр. 94. *...Тьер, вступая в полемику с г-м Феном...* — Барон А.-Ж. Фен (1778—1837) был секретарем Наполеона. В 1827 году в Париже вышла в двух томах книга Фена «Рукопись о 1812 годе, содержащая краткий обзор событий этого года для воссоздания истории императора Наполеона». Тьер полемизирует с Феном в своей «Истории консульства и империи» (т. XIV, с. 414).

Стр. 95. *...в Египте... посредством посещения мечети...* — Во время Египетского похода 1798—1799 годов Наполеон всячески уверял арабов в своем уважении к Корану и к магометанской религии, но рекомендовал при этом полную покорность французским войскам, грозя в противном случае крутыми мерами.

Стр. 108. *...выйдя к провиантским магазинам....* — Огромное здание провиантских магазинов близ Крымского моста, на углу Остоженки (ныне Метростроевской улицы) сохранилось до наших дней.

Стр. 112. *В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер...* — Это был полковник Бертелеми, приехавший 8 ок-

тября с письмом начальника штаба французской армии Бертье. Кутузов ответил, что решение Александра I по поводу предложений Лористона еще не получено, но в письме своем (как и в прежнем разговоре с Лористоном) обосновал право народа на партизанские действия.

Стр. 119. *...письма к m-me Staël...* — Французская писательница А.-Л.-Ж. Сталь (1766—1817), высланная в 1802 году из Парижа за оппозиционное по отношению к Наполеону направление ее салона. В 1812 году она находилась в России. Кутузов действительно был с нею в переписке; при назначении Кутузова главнокомандующим мадам де Сталь одна из первых поздравила его и выразила уверенность в его победе.

Стр. 120. *Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.* — Дохтуров был направлен Кутузовым 10 октября к селу Фоминское, чтобы напасть на стоявший там французский отряд. По пути стало известно, что в Фоминском и около Фоминского находится не отряд, а вся французская армия и что она заняла Боровск, по дороге на Калугу. Нужно было перерезать путь французам в Малоярославец. Получив подтверждающий приказ от Кутузова, утром 12 октября (одновременно с французской армией) отряд под командованием Дохтурова подошел к Малоярославцу. Восемь раз в этот день Малоярославец при неумолкавшей канонаде с обеих сторон переходил из рук в руки. Дохтуров уже еле держался, когда в два часа к нему подошел Раевский со своим корпусом, а в четыре часа дня Кутузов со всей армией. 13 октября Кутузов приказал отступить от Малоярославца на $2^1/_2$ версты, но, отступив, загородил всею своею армией дорогу на Калугу. Предстоял бой. Наполеон не решился дать его и начал отступление из Малоярославца к Смоленску. Лишь после этого русская армия двинулась от Калуги, преследуя Наполеона.

Стр. 121. *...последнее мнение... солдата Мутона...* — Имеется в виду генерал Мутон-Дюверне, спрошенный на военном совете 13 октября последним.

Стр. 128. *...гверильясы в Испании...* — испанские партизаны, ведшие в 1808—1814 годах народную войну против войск Наполеона.

Стр. 142. *...в Вяземском сражении...* — Первым большим боем после вынужденного перехода Наполеона на разоренную Смоленскую дорогу было сражение под Вязьмой 21 и 22 октября 1812 года. Русский авангард под начальством Милорадовича одержал здесь блестящую победу.

Стр. 162. *Пьер знал эту историю давно... А его уж бог простил — помер.* — Эта «история» была обработана Толстым в 1872 году в самостоятельный рассказ «Бог правду видит, да не скоро ска-

жет» (напечатан в № 3 журнала «Беседа» за 1872 г., а затем включен в «Третью русскую книгу для чтения» — «Новой азбуки»).

Стр. 174. *...под Красным и под Березиной... было побеждено расстроенными толпами французов?* — Сражения под Красным, куда русская армия подошла наперерез отступлению Наполеона от Смоленска к Березине, длились четыре дня 3—6 ноября 1812 года. В первый день схватка русского корпуса генерала Ожаровского с «молодой» гвардией Наполеона была не совсем удачна для русских. Но в следующие дни французская армия оказалась окруженной, и Наполеон, маневрируя, порой переходя в наступление, на самом деле думал только о выходе из боя. На Березине путь Наполеону, преследуемому армией Кутузова, с севера должна была преградить армия Витгенштейна, с юга — армия Чичагова. Но Витгенштейн «опоздал»; адмирал Чичагов слишком медлил (его действия осмеял Крылов в басне «Щука и Кот», по этому случаю написанной), и Наполеону удалось, хотя и с колоссальными потерями, переправиться через Березину.

Стр. 175. *...дипломаты того времени (J. Maistre и другие).* — Жозеф де Местр с 1802 по 1817 год состоял в Петербурге сардинским посланником. В Яснополянской библиотеке сохранились книги Ж. де Местра «Дипломатическая переписка 1811—1817 гг.» (двухтомник, издан в Париже в 1860—1861 гг.) и «Политические мемуары и дипломатическая переписка» (Париж, 1859, 2-е изд.). Ими Толстой пользовался во время работы над «Войной и миром».

Стр. 189. *Записки Вильсона.* — Генерал Р. Вильсон был представителем союзной Англии при русском штабе. Вместе с начальником штаба Бенигсеном он интриговал против Кутузова, требуя «решительных действий», а в отправляемых царю донесениях беспрерывно клеветал на русского главнокомандующего. Вот, например, что писал Вильсон Александру I 31 октября 1812 года, за несколько дней до сражений под Красным: «Удобные случаи кончить сию войну были пропущены, хотя представлялись неоднократно. В теперешней позиции теряем мы день, сделав роздых без нужды; если мы останемся на месте другие 24 часа, Бонапарт восстановит свои коммуникации и, дойдя до Польши, будет страшным, имея до 100 тысяч войска. Он много потерпел от отрядов наших и от самой природы, но не был еще разбит. Напротив того, он мог увидеть, что и ослабевшее могущество его казалось страшным тому *генералу,* который предводительствует армиями вашего величества. В армии нет ни одного офицера, который не был бы в том уверен, хотя не все одинакового мнения касательно побудительных причин таковой бесполезной, безрассудной и дорого стоящей осторожности» (цит. по кн.: Е. В. Тарле. Сочинения, т. VII. М., 1959, с. 700—701).

Толстой читал Вильсона, очевидно, в «Русском вестнике» (1862, № 1) в изложении Ю. Толстого: «Записки сэр Роберта Вильсона о нашествии Наполеона на Россию и об отступлении его армии».

Стр. 190. *...в истории, написанной недавно по высочайшему повелению...* — Книга М. Богдановича «История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам. Составлена по высочайшему повелению», тт. I—III. СПб., 1859—1860; экземпляр хранится в Яснополянской библиотеке.

Стр. 199. *...по двойному товару...* — то есть по двойной выкройке кожи на сапоги.

Стр. 204. *...переход через Березину...* — происходил 14—16 ноября 1812 года.

Стр. 206. *Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором.* — Кутузов был литовским военным губернатором в последние годы царствования Павла I (1799—1801) и затем в 1809—1811 годах, перед своим назначением в Дунайскую армию.

Стр. 210. *И он умер.* — М. И. Кутузов умер 16 (28) апреля 1813 года во время заграничного похода русской армии, в небольшом городке прусской Силезии Бунцлау.

Стр. 242. *...дав конституцию Польше...* — Образованное после Венского конгресса 1814—1815 годов Королевство (Царство Польское) объявлялось неразрывно связанным с «всероссийским престолом». Конституция Королевства Польского, подписанная Александром I 27 ноября 1815 года, провозглашала формальное равенство всего населения перед законом, неприкосновенность личности и имущества, свободу печати и вероисповеданий. По конституции, Королевство имело собственное правительство во главе с наместником, двухпалатный сейм; сохраняло свою армию. Вопросы внешней политики остались всецело в ведении царского правительства России.

...сделав Священный союз... — реакционный союз Австрии, Пруссии и России, заключенный в Париже в сентябре 1815 года, вскоре после вторичного отречения Наполеона. В ноябре 1815 года к союзу присоединились Бурбоны, а позднее и другие монархические государства Европы.

...раскассировав Семеновский полк... — В октябре 1820 года в гвардейском Семеновском полку вспыхнуло восстание против жестокой армейской муштры и бесчеловечного обращения с солдатами нового командира полка полковника Шварца. Восстание было подавлено, весь полк заключен в Петропавловскую крепость, двенадцать человек наиболее активных участников восстания — в Алексеевский равелин; «зачинщики» прогнаны сквозь строй, оставшиеся после экзекуции в живых сосланы на каторгу. Полк был расформирован и вскоре создан заново из солдат гренадерских полков,

Стр. 247. *Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу.* — Генерал Бонапарт, превознесенный за взятие Тулона правительством Робеспьера, после падения в июле 1794 года якобинской диктатуры впал в немилость. Отказавшись командовать пехотной бригадой в дни подавления Вандеи по приказанию термидорианского Комитета общественного спасения, он подал в отставку. Лишь в августе 1795 года он с трудом определился на службу, как генерал артиллерии, в топографическое отделение Комитета общественного спасения. Тем большая слава покрывает его имя, когда в первых числах октября того же 1795 года Конвент призывает его для подавления контрреволюционного восстания в Париже и он оказывается «спасителем» Республики.

Неприятельский флот... пропускает целую армию. — Распространив в 1798 году слух, что он собирается пройти Гибралтар и высадиться в Ирландии, Наполеон обманул адмирала Нельсона. На самом деле французский флот пошел к Мальте, которая без боя сдалась французам.

Стр. 248. *...заговор... утверждающий его власть...* — Заговор против Наполеона был задуман и подготовлен в 1803 году в Лондоне. Его целью являлось восстановление на французском престоле династии Бурбонов; исполнителями были — вождь шуанов, роялистски настроенных крестьян Вандеи, Жорж Кадудаль; Моро, один из талантливых генералов французской республиканской армии, ненавидевший Наполеона; генерал Пишегрю, который в 1797 году был разоблачен Наполеоном в тайных связях с принцем Конде, сослан в Гвиану, но бежал оттуда и проживал нелегально в Париже. Заговор был раскрыт наполеоновской полицией. Наполеон использовал заговор для того, чтобы превратить свое пожизненное консульство в наследственную монархию.

Стр. 251. *...играет сам перед собой жалкую комедию... оправдывая свои деяния...* — Наполеон начал диктовать воспоминания своему секретарю Лас-Казу уже по пути на остров Святой Елены и продолжал их, находясь на острове (1815—1821). Толстой считал «Мемуары на острове Святой Елены», вышедшие в Париже в 1823—1824 годах, важнейшим документальным источником, разоблачающим Наполеона.

Стр. 252. *«Не нам, не нам, а имени твоему!»* — Эти слова Александр I велел вычеканить на медали в память 1812 года.

Стр. 286. *...случившейся истории в Семеновском полку.* — См. прим. к стр. 242.

...О Библейском обществе. — Библейское общество было организовано в России по образцу такого же английского в декабре 1812 года А. Н. Голицыным при покровительстве Александра I.

Игумен Новгородского монастыря Фотий начал в 1820 году гонения против Библейского общества, масонства и других мистических течений — во имя утверждения ортодоксально-православных начал. Воздействуя на Александра I, Фотий в 1824 году добился отставки Голицына от занимаемого им с 1817 года поста министра духовных дел и народного просвещения.

...и Госнер и Татаринова... — Мюнхенский пастор-мистик И. Госснер, изгнанный в 1817 году из Баварии, по приглашению Библейского общества приехал в Петербург, где был избран директором общества и пользовался большим успехом как проповедник. Сектантка Е. Ф. Татаринова в 1817 году основала в Петербурге «духовный союз» — экзальтированную хлыстовско-скопическую секту с радениями и пророчествами, которая благодаря ее связям с высшими петербургскими кругами существовала до 1837 года.

Стр. 288. *...плясать с... Кг'юднег', читать... Экаг'стгаузена...* — В. Ю. Крюднер (Криденер, 1764—1825), известная своими мистическими писаниями и проповедями, с 1821 года жила в Петербурге. О немецком писателе-мистике XVIII века К. Эккартсгаузене см. прим. к стр. 111 в четвертом томе.

Стр. 291. *...тугендбунд...* — «Союз добродетели» — политическое общество, основанное в 1808 году в Кенигсберге. Ставило целью освобождение Пруссии от власти Наполеона, проводило националистическую пропаганду в либерально-буржуазном духе. В декабре 1809 года союз был запрещен Фридрихом Вильгельмом III по указанию Наполеона, но продолжал свою деятельность нелегально. Либеральные идеи тугендбунда, имевшие хождение и после его распада в 1815 году, преследовались теперь уже прусским правительством. Идеи тугендбунда повлияли на русских декабристов, в частности — на членов Союза благоденствия.

Стр. 301. *...в издании Плутарха.* — «Сравнительные жизнеописания» древнегреческого писателя Плутарха (ок. 46 — ок. 126) включают сто пятьдесят (дошедших до нас) биографий выдающихся греческих и римских деятелей. В русском издании книга вышла (несколькими выпусками) в 1810—1821 годах.

Стр. 302. *...Муций Сцевола сжег свою руку.* — Герой римского предания юноша Муций пытался убийством этрусского царя Порсены, осаждавшего Рим в 508 г. до н. э., избавить родину от опасности. Схваченный в неприятельском лагере, Муций положил правую руку на пылавший жертвенник, показав этим свое презрение к смерти. Согласно преданию, Порсена, пораженный поступком Муция, отпустил его и снял осаду Рима. Муций получил прозвище Сцевола (Левша).

Стр. 315. *...Наполеон III, когда его поймали в Булони...* — Племянник Наполеона I Луи-Наполеон Бонапарт в 1836 и 1840

годах предпринимал попытки захватить власть во Франции. Арестованный в 1840 году в Булонском лесу, был осужден на пожизненное заключение в крепости. В 1846 году бежал в Англию. В 1848 году он добился своего избрания президентом Франции. После контрреволюционного переворота 2 декабря 1851 года был провозглашен императором в 1852 году.

Стр. 322. *...Наполеон III предписывает, и французы идут в Мексику.* — В 1862 году Наполеон III организовал захватническую экспедицию в Мексику; однако в 1867 году французские войска вынуждены были очистить страну, а посаженный французами на престол король Максимилиан был расстрелян республиканцами.

...Прусский король и Бисмарк предписывают, и войска идут в Богемию. — Речь идет о прусско-австрийской войне 1866 года, окончившейся поражением Австрии.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КНИГИ «ВОЙНА И МИР»

Статья напечатана впервые в журнале «Русский архив», 1868, март (когда вышли в свет четыре тома «Войны и мира» и готовился пятый — по первоначальному разделению романа на шесть томов).

Стр. 351. *Употребление французского языка в русском сочинении.* — В 1873 году, включая «Войну и мир» в собрание сочинений, Толстой везде заменил французский текст русским (его переводы использованы в подстрочных примечаниях). Однако в позднейших изданиях произошел возврат к первоначальной редакции.

Стр. 353. *...Вороновский дом...* — подмосковная усадьба Ростопчина.

Стр. 354. *...Ник. Ник. Муравьев, главнокомандующий...* — Н. Н. Муравьев (1794—1866) участвовал в Отечественной войне 1812 года; в 1854—1855 годах, когда с ним встречался Толстой, генерал Муравьев-Карский был наместником Кавказа и главнокомандующим кавказских войск.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЙНА И МИР

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Толстой Л. Н.

Т 53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 7. Война и мир. Т. 4. Примеч. Л. Д. Опульской. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1974.

400 с.

В четвертом томе романа Толстой обращается к трагическим событиям войны 1812 года: оставление русскими войсками Москвы, грабежи и пожары, расстрелы пленных. Воссоздавая исторические события, автор показывает истинно народный характер, который приобретала Отечественная война.

На фоне исторических картин продолжает Толстой повествовать о судьбах своих героев. Война подвергла их большим испытаниям: попадает в плен Пьер Безухов, умирает от ран Андрей Болконский, погибает Петя Ростов. Но приобщение к великим испытаниям народа очищает и возрождает любимых героев писателя. Происходит вечное «оживление жизни», по словам Толстого.

Т $\frac{70301-288}{028(01)-74}$ **подписное** **Р1**

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 7

Редактор
Ч. Залилова

Художественный редактор
С. Данилов

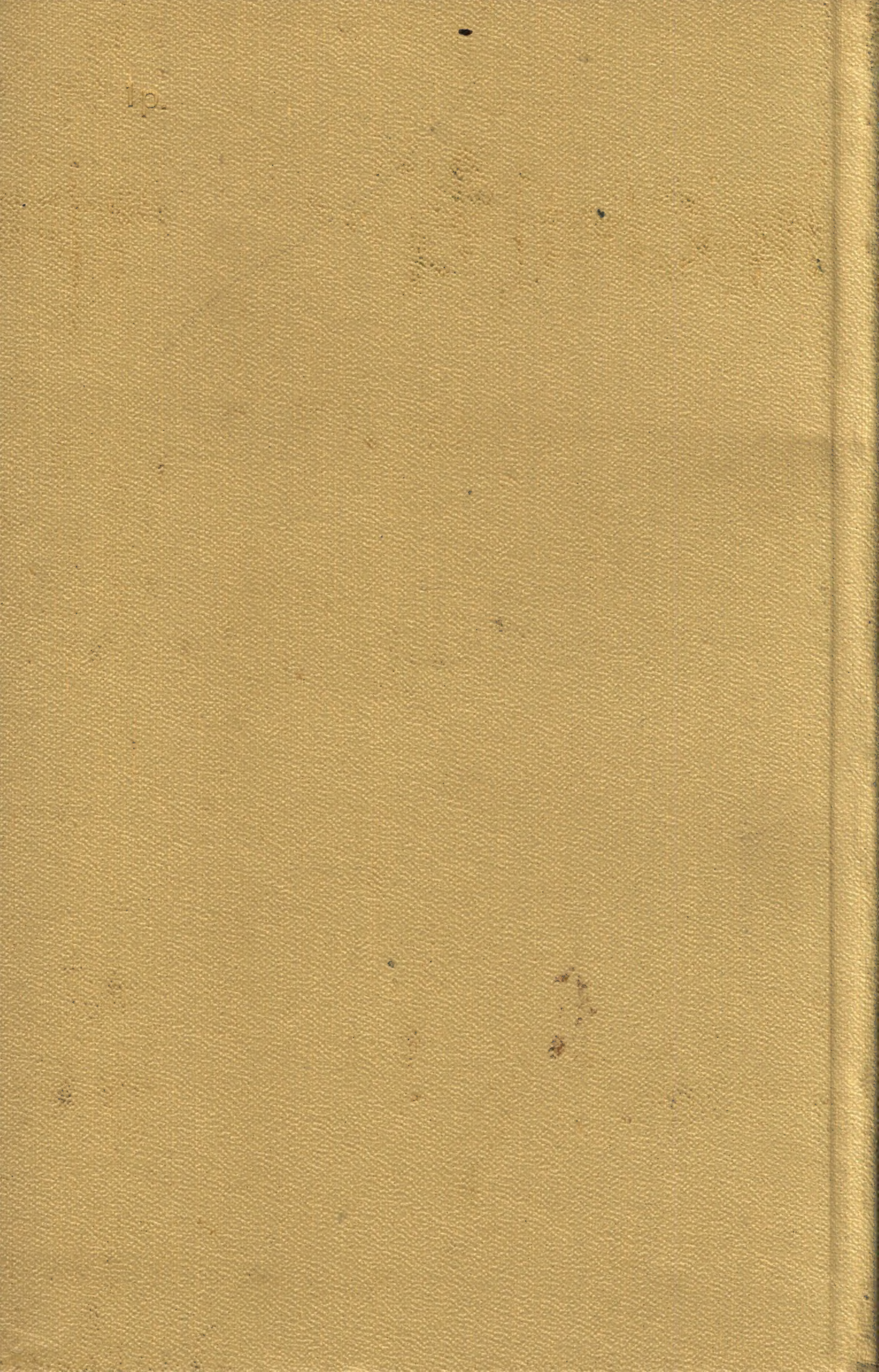
Технический редактор
О. Ярославцева

Корректоры *А. Матюшина* и *А. Юрьева*

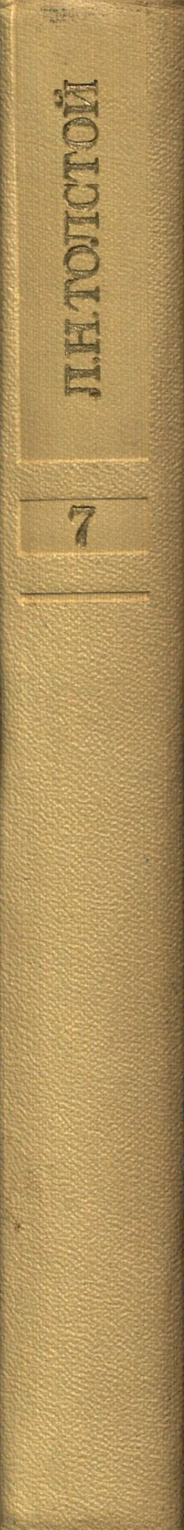
Сдано в набор 30/VIII 1973 г. Подписано в печать 4/III 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. 12,5 печ. л. 21 усл. печ. л. 22,52 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1067. Цена 1 р.

Издательство
«Художественная литература»
Москва Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26



1 р.


Л. Н. ТОЛСТОЙ
7